

ПАВЕЛ
ФЕДОРОВ
4

Дилогия

Павел Федоров

Витим золотой

Федоров П. И.

Витим золотой / П. И. Федоров — — (Дилогия)

«Витим Золотой» – вторая часть дилогии, продолжающая тему романа
«Синий Шихан» на материале Ленских событий 1912 года.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ	5
ГЛАВА ВТОРАЯ	9
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	12
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	18
ГЛАВА ПЯТАЯ	21
ГЛАВА ШЕСТАЯ	24
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	26
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	30
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ	37
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ	45
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ	51
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Павел Ильич Федоров

Витим золотой

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Над серой, унылой степью сплошной чередой бегут сумрачные свинцовые тучи, порой низко опускаясь к грязной, разбитой колесами дороге. Мохноногая лошаденка, с репьями в длинном хвосте, цепко переступая раскованными копытами, с трудом вытаскивает из глубокой колдобины тяжело нагруженную телегу, в которой сидят какие-то серые, нахохленные люди. Колеса скрипят и вязнут в грязи по самую ступицу.

Всю ночь лил тягучий обкладной дождь и только под утро стих. Холодно. Пронзительный степняк треплет некошенные травы и низко гнет верхушки к земле, заунывно посвистывает сухими дудками. Извилистая дорога далеко убегает в степь. Коренастый, с кривыми ногами возчик-башкир в коричневом армяке, подпоясанном раскисшим сыромятным ремнем, часто поднимая с морщинистого лба старенький лисий малахай, устало шагает рядом с телегой. На крутых изволоках он берется за наклеску и помогает изнуренной лошади, а если она приостанавливается, возчик выхватывает из-за пояса кистистый кнут, остервенело хлещет по взьерошенному ковылю, кричит, вытаращив раскосые глаза:

– Па-аше-ел! Тащи-и! Айда! Перед давай, а то на махан пушу!

Взмывленная лошаденка, всхрапывая распаренными ноздрями, напрягая последние силеньки, тащит. Возчик машет кнутом, щелкает, покрикивает:

– Айда! Пошел!

Хлюпает под колесами грязь, скрипит ветхая сбруя, исступленно орет башкир, а идущие впереди этапа конвойные даже не оглядываются.

– Ох шайтан дорога, ох халеррра!

Визгливый голос возчика рвет сумрачную тишину и далеко летит окрест.

Сидящие в телеге люди в серых приплюснутых шапочках, склонив головы, с трудом преодолевают дремоту и зябко кутаются в серые, промокшие тюремные бушлаты. Это больные с этапа. Они продрогли на осеннем ветру и совсем равнодушны к выкрикам возчика. Тоненько и жалко подвывает в ковыле тугой ветер. словно не успевая за бегущими тучами, степь лениво плывет назад. Тускло волнуется туманное марево, застилая далекий горизонт. Впереди маячит на коне старший конвоя, грязно вьется в пожелтевшей траве черный шлях и пропадает в степной дали.

Едут. В задке телеги, в клочках измятого сена торчат, как собачьи уши, уголки холщовых мешков. На концах плохо обтесанных дрог привязаны забрызганные грязью чемоданы с разного вида замками, деревянные сундучки, баульчики. Когда колеса наезжают на кочки, вся эта кладь вздрагивает, дребезжит и трется о боковые наклески. Этап движется медленно. Некоторые арестанты закованы в кандалы. Сбоку этого печального шествия, верхом на крупном, сытом коне рыжей масти, едет начальник конвоя старший урядник Кузьма Катауров. Он из станицы Айбурлинской. Она расположена неподалеку от Шиханской. Катауров хорошо знает Петра Лигостаева и его дочь Марину. На голове урядника мохнатая казачья папаха. Короткая шея аккуратно замотана желтым с голубыми полосками башлыком, конец которого плотно прижат белой лосевой портупеей – признак того, что владелец ее служил когда-то в атаманском полку. Шашка у него длинная, в потертых ножнах – старый, много раз побывавший в

деле дедовский палаш. С правой стороны, поверх кобуры, висит тяжелая, тоже выдавшая виды нагайка, сплетенная из самых мельчайших ремешков. Начальник конвоя зорко поглядывает на тихо шагающих арестантов и солдат-конвоиров. Его конь, привыкший к путевому режиму, идет спокойным, размеренным шагом, плавно покачивая урядника в казачьем седле, как в зыбке. Катауров иногда помурлычет песню, иной раз даже подремлет, а чаще всего, посапывая багровым, когда-то обмороженным носом, думает. Размышления его не слишком сложны.

«Служу не по нужде, а по вольной воле, – думает Кузьма Романыч. – Служу не кому-нибудь, а самому государю императору и престол от разных врагов охраняю. Как-никак, а это для нас честь... В церковь хожу не с трехкопеечной свечкой... Не грешно и медали показать – горбom заслуженные. И сыны... Старшой на действительной, в гвардии, пятьсотрублевого коня ему справил – на удивление всем есаулам. Второй нынешний год в лагерь ходил, и тоже на каком коне! Третий – наследничек, Никанорушка, – такой вымахал, что все девки начинают заглядываться. Не токмо на сына заглядываются, а и на хозяйство. Снохи-то будто лебедушки. И дом ведут, и себя блюдут, не то что дочь Петьки Лигостаева – от венца к киргизу убежала. Тут он, ее каторжник-то».

Через фарт братьев Степановых и Кузьме Романычу богатство привалило неожиданно-негаданно, да такое, что расперло... Даже самому признаться боязно, что сотворил для него бог!

«Потешил бы, Романыч, признался бы, – пытаются иногда его станичные казаки. – Сколько тыщенок в кубышку положил?»

От таких вопросов Кузьму Романыча озноб хватает. Сам выболтал спяну о своей коммерции. А дело вышло так. Посоветовал ему Мардарий Ветошкин за чаркой водки купить акции Ленских золотых приисков.

«Будешь только купончики стричь», – уговаривал пристав.

«Пустое, Мардарий Герасимыч, да где денег-то взять», – отнекивался Катауров.

«Думаешь, я твоих доходов не знаю? – в упор посматривая на друга хитрыми полицейскими глазками, спрашивал Ветошкин. – Добра тебе желаю. Три дня назад они стоили по три сотни каждая, а сегодня уже четыреста. Я купил десять и тыщу целковых сегодня положил чистенькими и тебя еще вот угощаю».

«Тыща рублей... в три дня!» – Кузьма Романыч едва не сверзился со стула.

А Ветошкин тем временем вместе с винцом вливал в его чрево золотую витимскую отраву. Как тут утерпишь! Пошли вдвоем в банк к Шульцу, и Кузьма Романыч выложил кассиру банка восемьсот целковых, а взамен получил две красивенькие светло-зеленые бумажки. Протрезвел, когда уже подъезжал к станице, – и хоть назад ворочайся. Шутка сказать, какие денежки выманили! Маялся целую неделю, сна лишился, на жену и снох нагайкой замахиваться начал. Совсем невтерпеж стало. Запряг самую резвую лошадь и укатил в Зарецк. Чуть не задохнулся, когда взбегал на второй этаж банка. Как угорелый сунул в окошко кассиру свои зелененькие. Тот повертел их в руках, посмотрел на свет, небрежно кинул в железную пасть сейфа и начал отсчитывать, да не бумажками, а звонкими империялами. Когда отсчитал две тыщи рублей, у Кузьмы Романыча совсем дух перехватило.

«Можете не считать, у нас не обманывают», – строго, не оборачиваясь, проговорил кассир.

Катауров стоял словно в чаду. Потом поскакал к приставу Ветошкину и в каком-то иступлении чуть не в ноги благодетелю.

«А еще на сколько купил?» – спросил тот.

«Да ни на сколько, Мардарий Герасимыч! – удивился Кузьма Романыч. – Они же теперь по тыще рублей каждая!»

«Через неделю будут стоять в два раза дороже, дурак вислоухий!» – рассердился пристав и тут же посоветовал вложить в акции все деньги.

«Тебя-то, Мардарий Герасимыч, кто надоумил?» – допытывался Кузьма, все еще боясь, чтобы не вышло какой-нибудь обмизулки...

«Авдей Иннокентич Доменов, вот кто! Только гляди помалкивай, а то язык отрежу», – пообещал пристав.

«Могила!» – заверил Кузьма и в тот же день укатил домой. Там дочиста опростал всю кубышку. Примчавшись обратно, купил толстую пачку зелененьких, затолкал ее в сухой бычий пузырь и схоронил на дне своего служилого сундука. На свободе заглядывал и пересчитывал. Перед отъездом с очередным этапом узнал от благодетеля, что каждая бумажка теперь стоила по три тысячи рублей! Богачом стал, да еще каким! Подумывал уже службу бросить. Ведь десять лет этапную пыль глотает, грязь на шляху месит. «А легкое ли дело сопроводить арестантников? В другой раз попадется такой законник, что всю душу из тебя вымотает да еще жалобу настрочит. Сгибай после шею свою перед начальством. Вон Мардарий Герасимыч про доходы намекнул. Ну и что ж? Все мы люди крещеные, где-то можем и какую поблажку дать, если надо, и свиданьице устроим, и шкалик спиртику поднесем, за то и благодарствуют... Понимаем, что все люди на страдание идут по воле божьей... Можем и всякое другое снисхождение сделать, но только уж смотри, нас не подведи, бежать не вздумай али против царя лихие слова баить. Мы ведь все можем: и песенку вместе спеть, и кандалы надеть. Кузнец-то имеется в каждом поселке. Вон вчерась тот азиат бритоголовый, лигостаевской девки полюбовник, кандалишки свои перекрутил и решил дерануть... Цепочки-то слабенькие оказались, а может, кто и напильник дал... Это иногда бывает. Попадают такие дьяволы! Но я тоже, соколы мои, не дурак, каждую душу наскрозь вижу. Сколько разных человек прошло через мои руки. Не сочтешь, милай! Заменял я ему, зятю лигостаевскому, цепочки-то, добротные навесил. Наверное, еще во времена Николая Павловича делали. Тогда умели ковать этот звонкий струмент. А нынче и прочность и звон не тот...»

Кузьма Романыч, повернувшись на скрипящем седле, оглядывал растянувшуюся вдоль дороги колонну. Приподнявшись на стремянах, зычно крикнул:

– Подтянись! Веселей ходи, арестантики! Песенку заводи, а мы подтянем, бога помянем, глядишь, и скоро ночевать встанем!

Но «арестантики» шагают молча. Под ногами чавкает липкая грязь, холодная водица хлопает в ветхой, промокшей обуви. Звенят кандалные цепи, и если уж говорить правду, то это вовсе не звон. Залепленные грязью кандалы не звенят, а скрежещут дробно, как будто подтачивают живые человеческие кости.

Новые кандалы Кодара, видимо, на самом деле допотопнойковки, возможно, с крепостных демидовских времен, шагать в них не легко, тем более по непролазной грязи, которая густо набивается в подкандалники. Кодар часто останавливается и выковыривает грязь концом подобранной на дороге чекушки. Ему помогает идущий рядом с ним высокий худощавый арестант, в черных роговых очках, с русой курчавой бородкой. Это ссыльный студент, уроженец Урала, Николай Шустиков. По приговору московского суда за участие в университетских беспорядках он был определен в ссылку. Однако студент решил, по собственному усмотрению, поехать в другую сторону. Вместо севера он вдруг отправился, на юг... Шустикова задержали, и теперь он следовал по этапу на золотой Витим. Студент был хмур и не очень разговорчив, только изредка перебрасывался словами с Кодаром.

А телега поскрипывает всеми колесами, этап медленно тащится, и полуденные серые краски совсем не меняются; хмурая, привычная дремотно-осенняя тишь.

– Устал, друг? – спрашивает Николай у Кодара.

– Что же сделаешь! – Темные над горбинкой носа глаза Кодара напряженно поблескивают и все время дико блуждают по сторонам. После неудавшегося побега на него тяжело смотреть.

Всю дорогу Николай наблюдает за этим суровым человеком и замечает, как он беспокойно и часто оглядывается назад и все чего-то ждет. Но кругом унылая пустыня ненастной

осени, ни одной живой души. По степи густо курится и лениво ворочается в низинах скучный туман. На ближних курганах камнями чернеют носатые беркуты, напоминающие родные просторы. Неподалеку от дороги в голых кустах бобовника, заросшего пожелтевшей спутанной травой, притаилась подраненная казарка. Спугнул ее конвойный солдат. Волоча подбитое крыло, птица нырнула в заросли. Заметив казарку, конвойный вскинул ружье, выстрелил, но промахнулся. Солдат бросился искать подранка, но Катауров отругал его и поставил в строй. Кодар видел, как в том месте, где притаилась казарка, судорожно тряслись и качались травинки. «Это, наверное, так бьется у нее сердце, – подумал Кодар. – Эх, хоть бы мне аллах дал крылья птицы, – поднялся бы к небу и улетел в родные края. Там Тулеген-бабай, тетка Камшат, там жарко горят в азбарах дувалы, гурты скота пасутся на зеленой отаве, бойко скачут подросшие жеребята... А здесь чужая, холодная степь, свирепые лица конвойных». Грустные мысли Кодара прерывает властный окрик урядника:

– Па-ашел! Шевелись, арестантики!

– Айда, давай! – протяжно голосит возчик, и далекое эхо откликается жалобным криком подстреленной птицы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Большое горе, внезапно обрушившееся на Кодара и Марину, ошеломило и старого Тулегена. Собравшись ехать вслед за отправленным по этапу Кодаром, Маринка вряд ли понимала, какое ей предстоит испытание. Как и все добрые и мудрые люди, Тулеген-бабай, привыкший бережно, с уважением относиться к несчастью близких людей, отговаривать не стал. Он молча взял лагун с дегтем, подмазал телегу и не спеша стал запрягать своего любимого одногорбого нара.

...И вот уже несколько дней, тархтя колесами, катится по старому Челябинскому тракту тележка, в длинные оглобли которой запряжен высокий белый верблюд.

Тулеген-бабай, помахивая жидким прутиком, то заводит свою монотонную песню, такую же печальную и бесконечную, как думы Маринки, то начинает размышлять.

– Челяба? Один аллах знает, что это такое азбар Челяба! Я только слышал про него немножко, а где он, далеко ли, близко ли? Может быть, ты, сноха, знаешь?

– Нет. – Маринка плотнее закутывается в теплую стеганую купу¹. – Слыхала, что есть такой город Челябинск, а так не знаю, – вяло и неохотно отвечает она, чувствуя, как горят от бессонницы глаза и сохнет во рту. Мысли ее рвутся, как слабые нити.

Поскрипывает тележка, степь желтеет спутанным ковылем и редкими жнивищами. Верблюд мягко переступает по взбухшему шляху, осторожно выбирая, где тверже и суше.

– Послушай, сноха, долго ли мы еще будем ехать?

– А разве я знаю... Наверное, еще долго, – шепчет Маринка.

Она не помнит, сколько раз отвечала на этот вопрос, а Тулеген помолчит, повздыхает и опять заговаривает об одном и том же. Чем дальше они отъезжают, тем тревожней становится на душе Тулегена.

– Сибирь-то ой как далеко лежит! Пока доедешь туда по такой шайтанской дороге, верблюд здохнет... Скоро снег выпадет, земля замерзнет, как на колесах будем тащиться?

Маринка не отвечает.

– Может, убежит все-таки? – тихо спрашивает Тулеген. Но старый и мудрый аксакал понимает, как, наверное, трудно вырваться человеку, закованному в железные цепи. – Ты веришь, что он вернется? – переспрашивает он еще тише.

– Да, верю, – отвечает Маринка, чуть шевеля губами, и глубже втягивает голову в плечи. Ответ стоит ей большого напряжения. Она не только верит в это, но все время ждет. Порой ей кажется, что Кодар где-то совсем близко затаился в каком-нибудь овражке или в степном кусту. – Он же сказал мне, что, как только выйдет случай, обязательно уйдет.

Тулеген с сомнением качает головой и, подстегнув прутиком голохвостого нара, снова спрашивает:

– А как он сломает железную цепь?

– Сломает, – вздыхает она.

– Ты надеешься, что сможет?

– Он все сможет, если захочет.

– Он-то захочет... А вот как солдаты, у них ружья...

– Ну и что ж, что ружья... Уходил же Василий Михайлович с этапа, и сколько раз! Ты же знаешь?

– Не знаю, сноха, не знаю, – пощипывая свою маленькую, смешную бородку, отвечает Тулеген.

¹ Род армяка.

На самом же деле он хорошо знает, что ночью арестантов запирают в этапной или в крестьянской избе на замок, а под окнами все время ходит солдат с ружьем; знает и про азбар Челябину, и про темир дорогу, по которой катятся избушки на железных колесах. Посадят в такую избушку Кодара, и черная шайтан-машина умчит его в далекую Сибирь. Попробуй-ка угонись за ней на верблюде! В Челябине Марина сядет в избушку на железных колесах и поедет вслед за Кодаром одна. А он, Тулеген-бабай, вернется, и будут они жить вдвоем с Камшат и горевать потихоньку. Беда-то вон какая нагрянула! Тулеген легонько подстегивает верблюда, и тележка с шумом подсакивает на выбоинах.

Маринка вздрогнула и подняла голову. Степь пухла от тумана и сырости. Перед глазами, словно кружась, плыли островерхие курганы, как тогда, после чтения приговора, закружились и куда-то поплыли окна в судейском зале.

...Ей теперь часто видится чубатая, поникшая голова отца. Раздавленный чудовищной силой позора, он прошел мимо и будто не заметил дочери. На нее тогда все глядели как на прокаженную. Надо было все это пережить. Подошел один Тулеген и под тихое змеиное шипение толпы вывел Марину из здания уездного суда. Их ждали оседланные кони. Одного из них подвел Кунта и помог сесть. Еще подходил один человек и говорил какие-то слова. Маринка смутно помнила, что это был Родион. От него пахло вином. Вот и все, что осталось в памяти от того страшного дня.

К вечеру этап остановился в небольшом уральском селе. Во дворе волостного управления солдаты конвоя начали быстро раздавать сухари. Возчик-башкир притащил для лошади охапку сена, а потом наносил кизяков и затопил печь. Каторжане рылись в своих мешках, стучали крышками сундучков, другие выжидательно покуривали. Цыган Макарка ел белый калач, принесенный жалостливой, сострадательной русской женщиной.

Поджидая Маринку, Кодар, сутулясь, одиноко сидел на завалинке, часто поглядывая на скрипящую калитку. В каждом селе, где этап останавливался на ночь, Маринка приносила ему передачу, и, если конвойные не прогоняли, она задерживалась до проверки, стараясь не попадаться на глаза Катаурову. Приходил и Тулеген. Выбрав сухое место, он усаживался в сторонке и молча ждал Маринку. Сегодня после грязной и тяжелой дороги друзья Кодара запаздывали.

На широкую улицу большого степного поселка словно крадучись текли тихие осенние сумерки. Над трубами вился мохнатый дымок. Пахло горящим кизяком и укропом. Почти у каждого дома нелепо маячили кряжистые, сучкастые ветлы. Кодару казалось, что они тоже целый день шагали по степи вслед за этапом, вошли в село и устало раскорячились где попало... Одна встала против окон волостного управления, другая у забора, третья на углу, а самая крайняя загородила своей толщиной скотопрогонный проход, оставив небольшую тропочку. По ней сегодня и пробралась с узелком в руках Маринка. Подошла к воротам.

На этот раз крошечные глазки Катаурова увидели ее сразу. Урядник давно ждал этой встречи.

– А ну-кась погоди! – окликнул он и перегородил дорогу ножами шашки. – Куда топаешь?

– Ужин нес, – перекладывая узелок с руки на руку, смущенно ответила Маринка.

– Кому? – жестко спросил урядник.

– Вы же знаете... – На строгом похудевшем лице Маринки застыла растерянная улыбка.

– Я спрашиваю, кому? – Кузьма скосороченно прищурился.

– Куванышеву.

– А кто он тебе есть?

– Он мне муж, – ответила она быстро, предчувствуя, что пытка только начинается. Сейчас она была в полной власти урядника.

– Где вы с ним венчаны – в церкви аль в татарской мечети?

Покусывая губу, Маринка молчала.

– Может, вокруг этой ветлы аль под степным стожком? Почему молчишь, лахудра? Как мог допустить твой родитель, чтобы ты, казачья дочь, убегла к басурману?

Ошеломленная неожиданной грубостью, Маринка испуганно попятилась.

– Он нашего, казачьего, офицера убил, защитника престола, а ты, курва, ему крендельки и калачики носишь, а может, таким манером и напильник подкинула!

Услышав брань начальника конвоя, к полуразрушенному забору начали подходить арестанты. Подошел и Шустиков, а с ним и цыган Макарка.

– Эх, чавалы, как он ее стрижет! – сказал цыган.

– Ее, стерву, надо голиком остричь, – покосившись на Макарку, продолжал урядник. – Совсем наголо. Да к столбу привязать, а рядом плетъ положить, чтобы порол ее каждый проходящий. Не я ее родитель, я бы ее своими руками на кресте распял! Да я бы такую!.. – Истощив запас бранных слов, Катауров поднял нагайку.

– Не смей! – вдруг пронзительно крикнул Николай Шустиков и, перепрыгнув через забор, ухватился за черенок нагайки.

Урядник круто повернулся, свирепо поглядывая на студента, крикнул:

– А тебе что нужно?

– Не смеешь бить, – тихо, но настойчиво проговорил Шустиков.

– Ты кого учить вздумал? – Забыв про Маринку, Катауров шагнул к студенту, но тот даже не сдвинулся с места.

За забором плотной стеной стояли каторжане и глядели на начальника конвоя. Раскидав арестантов, к забору бросился Кодар, но его успели удержать. Губы Кодара тряслись.

Урядник, поняв, что его ярость зашла слишком далеко, крикнул:

– А ну, чего столпились! Марш по местам! Гляди-ка, моду взяли у заборов толпиться! Марш! Марш!

Арестованные стали расходиться. Пока Катауров и студент спорили, Маринка смешалась с толпой местных женщин и через них отдала передачу. На этот раз переговорить с Кодаром так и не удалось. В последующие дни за ним был установлен строгий надзор. Еду приносил и отдавал Тулеген. Конвойные тщательно просматривали содержимое и отгоняли старика прочь, а Маринку по приказанию Катаурова не допускали совсем. В одном из уральских городов этап погрузился на поезд. Распрощавшись с Тулегином, Маринка села в пассажирский вагон и с тем же поездом последовала за Кодаром в далекую Сибирь. В Иркутске каторжан загнали на арестантскую баржу. Маринка поехала последним идущим на Витим пароходом. Меньше чем через месяц она очутилась на Ленских приисках.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После происшедших на Синем Шихане событий Авдей Иннокентьевич Доменов, прекратив разгулы и веселье, крепко взялся за золотопромышленные дела. Немного притих на первых порах и Иван Степанов. Митька по молодости продолжал куролесить, выкидывая бог знает какие штучки... Олимпиада одна-одинешенька томила в Кочкарске. Марфа с Митькой жили во вновь отстроенном доме, в который Шпак ухлопал немалые денежки. Перелистывая пачки опротестованных векселей и счета многочисленных поставщиков, Доменов хватался за голову и бранился на чем свет стоит.

– Ну хорошо, промывательные машины, оборудование, инструменты, я им местечко найду... А вот за каким дьяволом столько винища приперли? – возмущался Авдей. С расстегнутым воротом, непричесанными волосами, в больших сапогах, с голенищами чуть не до пупа, он сам, по мнению Усти Ярановой и Василия Михайловича Кондрашова, которые вели все конторские дела, походил на дьявола. – Да такую уйму этой отравы за пять лет не выхлопашешь... А потом, можно ли моему сватушке такой аромат казать! Или зятючку разлюбозному. Им – сивухи, и то только по праздникам... А то, гляди ты, бургунское, по четырнадцати рублей за бутылку! Да таких-то и цеп нет. Я, моншер, в винопитии толк знаю и покупать умею! Вот же грабители!

– Сделочку сам Иван Александрович подписал. Ну Шпак, конечно, присоветовал, – вставил Кондрашов.

– Сечь надо за такие дела! – закричал Авдей Иннокентьевич. – Ни одного порядочного инженера не наняли, пригласили какую-то шантрапу. Тараску загубили! Ах мошенники! Да я такого на десять заграничных не сменяю. Ты вот что, голубь мой, рассчитай-ка этих французиков и бельгийца. Да поделикатнее с ними обойдись, ты ведь демократ, умеешь наводить тень на плетень...

– А вы, Авдей Иннокентьевич, убеждены, что я демократ? – усмехаясь, спросил Кондрашов.

Странные у него завязались с Доменовым отношения. Доменов часто на его политическую неблагонадежность намекал, но во всем доверял. Василий Михайлович во время таких разговоров настораживался.

– Да ты же чистейшей марки социалист, – ответил Авдей с присущей ему прямоотой.

– Из чего это вы, Авдей Иннокентьевич, заключили?

– Не хитри, любезный! Я ведь ох какой дока... – Доменов погрозил ему пальцем и, позволив в колокольчик, потребовал чаю. Пил он крепкий чай в любом количестве.

– Знаю, что вы человек умный, – согласился Василий Михайлович.

– Так вот, моншер. Я в прятки играть не люблю. В каждом деле требую ясности. Ты мне нравишься. Потому что башка у тебя тоже на месте. Прости, что называю на «ты». Это значит, что ты мне в душу влез и я тебя полюбил. В деле с мошенником Петькой Шпаком ты свою честность и порядочность проявил. Другой бы на твоём месте так ручки погрел, а ты нет. Значит, парень ты другой закваски... Ума у тебя много, но в мозгах полное завихрение, как у всех ваших социалистов. Если хочешь со мной работать, то брось свои проповеди... Кое о чем я наслышан, понимаешь, голубь? Кто будет мешать делу, я пикнуть не дам, в бараний рог скручу. Хочешь, перекрещусь и всю правду выложу?

– Выкладывайте! – улыбнулся Василий.

– Тарас Суханов, мой старый сибирский дружок, был самый умнейший человек. А в этих делах оказался бя! Потому зря и погиб. «Зарецк инглиш компани» обвела его вокруг пальца и, прямо скажем, до гибели довела. Он свою совесть никому не продавал.

– А вы, Авдей Иннокентьевич?

– Речь о тебе идет, и меня ты покамест не трогай, голубь. Тарас был человек честный, а они, прохвосты, русское золото хотят лопатой грести... Ну это мы еще посмотрим... Тарас дело знал, а людям не умел в душу заглянуть – вот и расплатился. А у меня в делах своя метода. Я каждого молодчика должен как на ладошке зрить, нутро его чувствовать. О Шпаке я покойничка предупреждал, говорил, что это за фрукт.

– А он, думаете, его не раскусил? – спросил Василий Михайлович.

– Поздно. Потому я и хочу, чтобы у меня клещи на шее не завелись. У себя в Кочкарске я знаю, кто сколько раз в штреке чихнул и сколько бродячий спиртонос золотого песку хапнул. А расчет у меня короткий, сам должен понимать, при каком деле находишься... Можешь Плеханова читать и о коммунии мечтать – это твое дело, но только в мое не встревай... Так-то, голубь. Надеюсь, ты меня понял?

– Отлично, господин Доменов, – усмехнулся Кондрашов, думая про себя о том, как же умен и хитер его новый хозяин.

– Вот и дело. А теперь христом-богом тебя прошу – спровадь этих нахлебников. Это же, братец мой, агенты английской компании!

– Ну а те двое немцев? С ними что прикажете делать? – Говоря это, Кондрашов имел в виду двух инженеров, которых уже после катастрофы нанял Шпак.

– Совсем забыл. Прогоним и их... Погоди маленько. Дай только мне в курс войти... Я, например, в Кочкарске с немчурой живу за милую душу. А почему, спросишь? Да потому, что всю эту братию вот здесь держу. – Доменов показал свой огромный, заросший рыжими волосами кулак.

– Что и говорить! Ручка у вас, Авдей Иннокентьевич, могучая, – подсластил ему Василий. У него были свои виды на господина Доменова.

– А как же, голубь мой, иначе? Ведь ежели о себе не позаботишься, слопают, с потрохами сожрут! С этими двумя я еще маленько поманежу... Работать, стервецы, умеют, и поучиться у них не грех... Посмотрим, а там видно будет. Я нового управляющего выписал. Тоже мой старый дружок, Роман Шерстобитов. Разорился горемыка...

– Я его знаю, – сказал Кондрашов. – Когда же это успел он в трубу-то вылететь?

– Помогли... Сильно Ромка бабенок любил, картишки, ну и влез в долги... Векселя опротестовали, а я их скупил...

– А прииск?

– Ну и прииск, конечно...

– И хозяина вместе с делом?

– И хозяина, голубь... Дружок ведь, куда же его денешь...

– Сердобольный вы человек, Авдей Иннокентьевич!

– А ты, ей-богу, чудак! – Доменов расхохотался. – Все вы социалисты такие, одним миром мазаны. Если бы не мне, так другому достался... Хевурду, например? Они будут наше русское золото хапать, а я на них сбоку смотреть? Так, что ли? Да они бы его, как петуха, общипали! Нет, голубь, я по-божески поступил. С долгами по тридцать копеек за рубль расплатился... А то бы этого не получили, и Ромку в тюрьму упекли. А я ему место даю, положение! Что еще надо?

– Но если он снова начнет в картишки?

– У меня, брат, не очень-то разбалуешься... Ну, голубь, закончим на этом. Мне еще надо исследовательскую карту поглядеть да женошке письмо написать...

– Тут еще заявление насчет школы, – подавая бумагу, сказал Василий Михайлович.

– Это все черноглазая конторщица хлопочет?

– Рабочие хлопочут, у них дети, – возразил Василий.

– Школами, любезный, занимается казна. Это дело находится на попечении государства.

– Долгая песня, Авдей Иннокентьевич. Если мы будем ждать этого попечения, поседеют наши ребятишки...

– Для нас это закон, господин Кондрашов. Я у себя в Кочкарске великолепнейшим манером устроил через горный департамент. Заведом образование и здесь... Не все сразу...

Доменов встал и развел руками.

– Можно подумать, господин Доменов, что у вас в Кочкарске рай, – с усмешкой заметил Кондрашов.

– Рай или нет, а порядок соблюдаем. Ты-то что печешься, голубь? Или хочешь, чтобы булановские чада скорее научились листовки читать?

– Мы хотим, чтобы наши дети буквари читали. В социалисты их еще рановато...

– Ты забываешь, господин Кондрашов, что мы, предприниматели, денежки считать сами умеем...

– Неужели вам жаль денег братьев Степановых? Пропыют больше...

– Профинтят. Это ты верно изволил заметить... Но опять забыл, сколько я в ихнюю дурацкую коммерцию своих капиталов вкладываю?

– Господин Степанов и покойный Тарас Маркелович дали свое согласие, – настаивал Василий Михайлович.

– Сейчас это уже не имеет значения. Мы пересматриваем смету. Найдем нужным институт горный открыть – откроем. А теперь ступай, голубчик, и занимайся своим делом. Меня пристав ждет.

Кондрашов пожал плечами и вышел. Доменов открыл дверь и впустил в кабинет Ветошкина. Авдей занимал шестикомнатный дом, в котором жил Шпак. В кабинете были три двери: в спальню, в столовую и на просторную террасу.

Во время разговора с бухгалтером горный пристав Ветошкин сидел в столовой и подслушивал.

– Видал, брат, в какую я попал кашу? – идя навстречу своему старому приятелю, проговорил Доменов. – Садись. Ты уже поди и за мундир залил?

– Само собой, Авдей Иннокентич, с дороги-с, – улыбаясь рябоватым, похожим на сморщенную репу лицом, ответил Ветошкин. Степенно усевшись в мягкое плюшевое кресло, поставил шашку между колен, спросил: – А вы о какой каше помянули?

– Будто не знаешь, что тут делается? Родственнички мои таких чудес натворили, хоть по миру иди...

– Ну до этого, я думаю, еще далеко...

– До банкротства, милушка моя, версты не измерены... – Доменов, сунув руки за спину, задрал полы серого грубошерстного пиджака, топая сапожищами, ходил из угла в угол. – Письмо мое получил?

– Так точно-с. Как раз прибыл накануне с иргизской ярмарки.

– Ты вот по ярмаркам разъезжаешь, винище глоташь, рыбы кулебяки трескаешь, а я тут, как сом в трясине, скверный чай пью... Расскажи, как там?

– Обыкновенно, разгульно было и весело... Конокрады купчишку одного прирезали...

– Поймали?

– Покамест нет...

– Вот так вы и служите государю... Пьянствовали, наверное, да в карты резались, а тут живым людям горла режут, – ворчал Доменов.

– Напрасно вы так думаете, Авдей Иннокентич.

– Что я, вашего брата не знаю? Привез новых стражников?

– Все, как велено-с.

– Так вот слушай, Мардарий Герасимыч. После того как убили тут управляющего, подомной тоже землячка начала зыбко покачиваться... Иду ночью и думаю, как бы картуз с башки не

слетел... Хорошо, что один картуз... Надо всякое ротозейство бросить. Ты мне так службицу свою наладь, чтобы я и Роман Шерстобитов, который будет тут хозяйничать, о каждом человеке всю подноготную знали... На это я, Мардаша, никаких денег не пожалею. Они у меня хотят иметь школу, а мы свой особый жандармский институт откроем и через него всю эту братию пропускать станем.

– Народишка-то здесь с бору да с сосенки, – заметил Ветошкин.

– А это, ежели хочешь, даже лучше. Сплоченности меньше. Вон на уральских заводах – мне один приятель пишет – постоянные работнички такую заваруху устроили, всем чертям тошно. Того и гляди сюда докатится... Там свои коренные вожаки.

– А у вас? – спросил Ветошкин.

– А где их теперь нет? Есть и у нас.

– Например?

– Это уж по твоей должности...

– Как бухгалтер господин Кондрашов служит?

– Умен брат! Ох как умен! – воскликнул Доменов.

– Поэтому вы его и помиловали? Напрасно, – с сожалением заметил пристав. – Он своего дела никогда не бросит, Мы уж таких-с знаем-с...

– Я его не миловал. У него в руках оказались большие доказательства, что твои урядники подлецы и мошенники, а у вас против него – никаких! Вышло так, что он умнее нас с тобой. А я таких уважаю. Пусть послужит, а там посмотрим...

– А насчет Буланова как? – вкрадчивым голосом спросил пристав.

– Его артель втрое больше других золота дает. Вот как с Булановым, моншер! Это мне дороже всего. А остальное дело твое. Поймай с поличным, и я денег дам на кандалы... Нового старшего привез?

– Привез-то привез, да... – Высокий и костистый Ветошкин ткнулся острым, скуластым подбородком в эфес клинка и сокрушенно покачал головой.

– Ты что, пашку, что ли, глотать собрался? Уж коли начал, так договаривай. – Доменов подошел к столу и допил остывший чай. Присел в кресло и положил руки на стол. – Опять какой-нибудь экземпляр вроде Хаустова?

– По рекомендации, Авдей Иннокентич... Надо мной ведь тоже начальство имеется, ну и всучили...

– Что же это за гусь?

– Вы его не знаете...

– А ты-то знал, кого тебе всучают?

– Так точно-с, знал...

– За каким же чертом вез его сюда? Я ведь все равно вышибу, и на твое начальство не погляжу, – твердо проговорил Доменов.

– Я его не таким знал. А он, оказывается, зеленую пить начал... Как только из Зарецка выехали, остановиться не может. Дорогой клинок выхватил, постромки рубить начал, чтобы по степи на коне погарцевать... Связать пришлось. Как приехали, так освободили, а он опять тут же нарезался и пошел в штрек золото добывать... Еле-еле справились...

– Хорош гусь, нечего сказать!

– Ведь тихий человек был, бывало, курицу не обидит... Несколько лет старшим полицейским служил, домище себе такой выстроил, ай лю-ли! И на тебе, до белой горячки дошел... Может, выздоровеет и одумается...

– Нет уж, избавь! Такие у нас свои есть... Сегодня же в тарантас и отправь обратно. Пусть уж там лечится... Мы старшего здесь найдем. Есть у меня на примете один человек...

– Чего же лучше... ежели, конечно, утвердят... – согласился Ветошкин. Вообще, эта старая полицейская крыса Мардарий вел себя тихо, миролюбиво и умел вовремя вставить умненькое словечко.

– Я порекомендую, а ты представишь по начальству, вот и утвердят, – категорично проговорил Доменов, считая это дело заранее решенным.

– Кто ж таков? – спросил Ветошкин. В персоне старшего на прииске полицейского чина он был заинтересован не только по службе. Место было хоть и канительное, но изрядно доходное... Перепадало тут и приставу.

– А ты его знаешь. Это бывший войсковой старшина Печенегов, – ответил Доменов.

– Эге-э-э! – промычал Ветошкин что-то невразумительное и даже привстал. Такая кандидатура ему и в голову не приходила. Уж кого-кого, а Филиппа Никаноровича-то знал он давно...

– Ты чего вскочил? – спросил Доменов.

– Вы так меня ошарашили... – Ветошкин поморгал редкими, словно выщипанными ресницами, открывая портсигар, снова уселся в кресло.

– А чем, по-твоему, плох господин Печенегов? – щуря свои хитрые кабаньи глазки, спросил Доменов. – Боишься, что власть не поделите?

– Не в том вопрос, Авдей Иннокентич. Компрометированный он человек. Не утвердят-с, да и он сам, наверное, не пойдет.

– Это уж, голубь, не твоя забота. Пойдет... А что на каторге был, то не беда... Мало ли что с кем может случиться...

– Простите меня, Авдей Иннокентич, – вдруг грубовато и откровенно заговорил пристав. – Чепушенцию вы городите... У нас все-таки полицейское учреждение, а не бакалейная компания... Торгует он пряниками и водочкой – и пусть себе на здоровье торгует и нас еще благодарит...

– Вас-то за какие шиши? Вы-то что за благодетели? – обозлился Доменов. Такого сопротивления он не ожидал.

– Дельце-то по вашей покорной просьбе я замял... дело господина Суханова... – Ветошкин наклонился и начал чиркать о металлический коробок спичку.

– Не кури ты тут, – резко прервал его Доменов. – Не выношу я этого зелья. И ехидства твоего не выношу! – грохнув по столу кулачищем, продолжал Авдей. – Ты что, мало с него взял? Он сына-офицера потерял! А ты ему черт те что клепаешь! Да чем он хуже вас? Вот что, Ветошкин, все мысли твои я знаю. Ты лучше свой собачий нюх по другому следу пускай. Печенегов – казачий офицер и дворянин. Не моги его пачкать! Такие люди еще нам пригодятся... Вызови его и поговори. А кабак я закрою. Туда золотишко тащат, а нам это не с руки.

– Спиртоносы потянутся. Это не лучше, – возразил Ветошкин.

– Вот их ты и лови, а мы свой магазин откроем, от прииска.

«На все свою лапищу наложить хочет, – помаргивая выпуклыми рыбьими глазами, думал Ветошкин. – И на золото, и на доходы от кабака, даже на полицию... И ничего с таким тигром не сделаешь. Сам наказной атаман генерал Сухомлинов за ручку с ним здоровался».

В кабинете было жарко натоплено. Пахло еще краской и свежевystруганными сосновыми досками. За спиной Авдея Доменова висел в золотой раме портрет царя Николая Романова. Царь улыбался, словно собираясь топнуть маленьким, узконосым, с серебряными шпорами сапожком. За окном послышался грохочущий по мерзлой земле звук колес и звонкий по чернотропью цокот подков. Кто-то лихо подкатил к крыльцу. Минуту спустя в кабинет вошел рыжеусый веселый Иван Степанов. Он был в новенькой касторового сукна казачьей теплушке, в дорогой каракулевой папахе с голубым верхом, с пышным, закрученным вокруг шеи шарфом из козьего пуха. Заплывшие жиром глазки улыбчиво и сладостно щурились. Он был уже сильно выпивши, поэтому вошел бесцеремонно и шумно.

– Здравствуй, сватушка!

– Здорово, сват. Ты, я вижу, уже хватил. Не удержался! – приветствовал его Доменов с досадой в голосе.

– По такому случаю, сваток, и с тебя немало причтется... – Потирая белые, уже успевшие выхолиться руки, Иван маятником качался перед столом Доменова, загадочно подмигивая, говорил: – Едем, сваток! Я тебе такой сюрпризик преподнесу... Сколько ставишь?

– К черту твои сюрпризы! Ты лучше бы за дело брался, чем на рысках катать, – ворчал Доменов.

– А я тебе дело говорю, сваточек мой, да ишо какое дело! – вихлялся Иван, не замечая мрачного вида Доменова. – Я тебе не сюрпризик привез, а «изюмчик».

– Не улещай, сват. Не поеду и пить с тобой не стану, – упрямылся Авдей. Кураж свата давно ему опротивел. А там еще и зятек есть.

– Выпьешь, сват, и нас еще с приставом угостишь!

– Сам не прикоснусь и тебе не дам. Ступай и проспишь.

– Да я тверезый! Ты, сваток, над казаком не командуй! Я ведь тут вроде хозяин. Как вы думаете, господин пристав, хозяин я здесь али нет?

– Брось же, сват, эти кабацкие замашки, – урезонивал его Доменов. – Ведь только вчера тебе толковал, сколько у нас предстоит дела, а ты опять за свое. Оставь к чертям собачьим!

Позади Авдея медленно приоткрылась дверь. Метя полами синей бархатной, на собольем меху шубы крашенные половицы, тихо вошла Олимпиада. Высокая, румяная, она была похожа на русскую боярыню.

– Так я и знала, что сидит и чертыхается, – проговорила она и зажала мягкими холодными ладонями широкоскулые колючие щеки мужа.

– Ангелочек ты мой, цветик лазоревый! – целуя душистые руки жены, забормотал Авдей Иннокентьевич. – Да как же ты, мамочка, не предупредила! Да я бы гонцов навстречу погнал, сам бы орлом полетел...

– Знаю я тебя! Ты бы все дела бросил, а я тебе мешать не хочу. Пусть, думаю, лишний фунтик золотца намоет на браслетик какой-нибудь для своей заброшенной женушки...

– Не говори мне таких слов, соколица ты моя ясная! Чуть не пропал я тут без тебя! – поглаживая жену по щеке, говорил Доменов.

– И пропадешь, миленок! Сидит, чертыхается, небритый, грязный, надел на себя черт те что... Дегтем пропах весь... Сейчас же вели топить баню и выпаривайся...

– Разбойница ты стала, сваха! – расплываясь в улыбке, взмахивал руками Иван Степанов. – Переменилась, расхорошела-то как, боже мой! Прямо царевна Тамара!

– Какая еще там Тамара? – прищурилась Олимпиада. – Какая разбойница?

– Любого в полон возьмешь! Истинно разбойница! – повторял Иван.

– С кистенем на дорогу не выходила, Иван Александрыч... Чего ты на меня губы-то расквасил? Поезжай-ка, миленок, к своей Арише, на нее и заглядывайся, а мне дай с муженьком покалякать... – бесцеремонно отчитала она Ивана.

Доменов покашливал и молодецки расправлял лихо подстриженные усы.

– И то правда... Пойдем, пристав, не станем мешать, – проговорил Иван как-то сразу отрезвевшим голосом и вместе с Ветошкиным вышел.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

– Погоди, соколик, дай хоть маленечко передохнуть, – уклоняясь от поцелуев мужа, проговорила Олимпиада, когда гости вышли. – Ежели еще раз бросишь меня одну-одинешеньку, пропаду я, Авдеюшка...

– Не пугай ты меня! – защищался Доменов. – И так все сердце изныло...

– Ой ли! А зачем бросил? Сижу там и не вижу ни света, ни зореньки... Встану, винца выпью, в ванне пополошусь, в зеркало погляжусь, цыпленка обгложу, икоркой заем и хожу по нашим хоромам одна в томлении и думаю: за что же это вянет и пропадает красота-то моя? Оставил бы хоть в Питере, я бы там нашла, где щегольнуть... Видишь, не утерпела и прикатила, – оправдывалась Олимпиада.

– Молодец ты, душа моя, вот и все! Да я не только браслетик – золотую цепь тебе на шею повешу!

– И прикуешь где-нибудь в горенке... Я тебя знаю... Ты послушай. Приезжаю я в Зарецк. Остановилась в Коробковых номерах...

– Туда-то зачем? Разве это место для тебя? Боже ж мой! – сокрушался Авдей, терзаясь ревностью. – Да разве можно там останавливаться порядочной женщине, к тому же одной, без мужа? Гнала бы прямо сюда!

– Шутка сказать! Сколько верст отмахала. Да и проголодалась. Дай, думаю, хоть горяченькую селянку съем. Приделась. Хотела обед в номер потребовать, да нет, думаю, вниз спущусь, хоть на городских людей гляну...

– Пошла все-таки? – кряхтел Авдей.

– А что мне?

– В такое срамное место?..

– Да чем оно срамное? Оттого, что вы там с голыми девками выплясывали? – ядовито щуря свои голубые глаза, спрашивала Липушка.

– Ох! Перестань, мамочка! – взмолился Доменов.

– Сам же рассказывал. А ко мне, соколик, это не пристанет. Значит, спускаюсь по ковру и встречаю в дверях... знаешь кого?

– Ну? – стонал Авдей.

– Угадай!

– Что я тебе, Ванька-угадчик? Мало ли кого туда черти носят. Ах господи боже мой!

– Какой ты у меня стал богомольный и праведный...

– Ну не томи ты меня, Липушка! – скреживая на груди руки, умолял Авдей Иннокентьевич. – Кого же это там тебе дьявол подсунул?

– Знаешь кого? – закатывая глаза, продолжала Липушка. – Маринки Лигостаевой мужа, Родиона Матвеича Буянова с компанией.

– Воображаю это компанство, – покачивал головой Доменов. – Он, говорят, пить начал, как зверь...

– Врут. Не перебивай. Он такой симпатичный и как ангел красивый! Ну, значит, поздоровались. Подхватили они меня под руки – и в залу...

– И ты пошла? – Лицо Авдея начинало розоветь, словно отхлестанное крапивой. Сузившиеся глазки подернулись кровавыми прожилками.

– Да разве вырвешься? Налетели, как воронье...

– Кто же еще-то там был?

– Больше купцы и офицерье.

– Самые пакостники!

– Ну уж это ты зря! Очень вежливые и обходительные люди.

- Знаю я этих голубочков!..
- Ну а тебя я тоже, младенца, знаю... Ты всех готов в одной куче с кизяками смесить. Выпили, повеселились...
- А потом кататься поехали? – с трепетом с голоса допытывался Авдей Иннокентьевич.
- Само собой...
- Дальше, дальше что было...
- Стал меня Родион Матвеич к себе в гости звать...
- Ты поди и рада стараться... Ах, дурак я, дурак! Скажи, пошла или нет? – спрашивал Авдей, чуть не плача от окаянной ревности. – С огнем, Олимпиада, играешь! Гляди у меня!
- Гляжу, миленочек... Как херувим чиста... Я, говорит, для вас на весь город бал устрою. Налью в ванну шампанскова, – помнишь, как ты мне рассказывал?
- Да мало ли я что тебе врал? Ох господи! Ну?
- В ту, говорит, самую ванну, из которой сбежала моя венчаная жена...
- Своя сбежала, так он чужую поймал... От дураков всегда жены бегают. Ну погоди, подлец, я тебе покажу ванну, ты у меня белугой завоюешь! Напрочь разорю, в землю вколочу и ногой растопчу! – яростно гремел Доменов. – И ты поскакала?
- Да что ты, миленок! Я еще с ума не спятила... Сказала, что пойду переоденусь. Вошла и на ключ заперлась...
- Стучались поди?
- А то нет? Целый час за дверью скребышились, умоляли... А я разделась да баиньки...
- Ой, врешь? – видя лукаво прищуренные глазки жены, грозился Авдей кулаком с рубиновым на большом пальце перстнем.
- Значит, не веришь?
- Убей, не верю! Усы готов себе изжевать, сердце вырвать... – признался Доменов.
- Хорошо, миленок... Вот уеду назад – и пропадай ты тут со своей родней!
- Олимпиада вскочила, сбросила с плеча его волосатую руку и стала торопливо закутывать голову в дорогой оренбургский платок, распахнув полы боярской шубы, заправила под высокую грудь роскошные кисти шали.
- Авдей молча следил за ее красивым, разъяренным от незаслуженной обиды лицом, пылавшим нежным, молодым румянцем.
- Ой будя, Оленушка! – не выдержал Авдей. – Вот тебе целый домище, живи и наслаждайся, а меня, балбеса, прости и люби. Я тут без тебя знаешь каких делов натворил...
- А что за такие дела? – насторожившись, спросила она. – Говори, что еще натворил?
- Олимпиада грозно выпрямилась. Заметив это, Авдей заговорил поспешно и радостно.
- Ты помнишь, Лапушок, когда мы с тобой были в Питере, я тебе подарил сто акций?
- Это такие зелененькие бумажки?
- Во, во, они самые! Ты еще выбрала меня за то, что спьяну двадцать пять тыщ рублей истратил...
- Еще бы не помнить. Хотел все полсотни отвалить, хорошо, что удержала.
- Вот и напрасно, мамочка. Ты знаешь, сколько сейчас стоят эти бумажки? Почти миллион рублей, поняла?
- Ой ли! С чего бы это? – У Олимпиады затряслись руки.
- А с того, что подпрыгнули неслыханно. Золото сотнями пудов снимают. Потому что в «Ленском товариществе» у дела стоят англичане со своими капиталами, да разбойник Кешка Белозеров – хозяева, не Ивашке Степанову чета! Думаешь, я тогда тебя послушал? Шалишь! – зарокотал Авдей. – Я тогда через маклера втихомолочку еще несколько таких пачечков приобрел... Дай-ка, лапочка, я с тебя шубу сниму.

Но Олимпиада слушала плохо. В голове золотым гвоздиком засел неожиданно приобретенный миллион. Очнулась от этого наваждения, уже когда сидела на диване, без шубы. Оттолкнула мужа, потребовала, чтобы подали закуску и вина.

- Все будет, ангел, все! Только знаешь, я не пью. Вот истинный крест, бросил!
- Ничего, со мной выпьешь...
- Уж разве только с тобой, а так-то сгори и вспыхни...

ГЛАВА ПЯТАЯ

В эту осень долго стояло ноябрьское чернотропье. Застывшая, смешанная с глиной земля гулко звенела. Петр Николаевич Лигостаев вместе с сыном Гаврилой нанялись возить на прииск камень и лес из прибрежного тугая. Промерзлая дорога была очень тяжелой. На крутых шиханских изволоках часто ломались дышла, рвались постромки. Ворочать каменные глыбы и сырой лес было трудно, а заработки не велики. Каждая копейка у Лигостаевых была на учете. Анна Степановна давно уже не вставала с постели, а Гаврюшке подходила пора уходить на действительную службу. Нужно было готовить полную казачью справу. На очередной лагерный сбор Гаврюшка ездил в старом отцовском обмундировании. Сверстники не раз посмеивались над его побитым молью мундиром и потрепанной шинелью. Когда речь заходила об этом, сын набычивал перед отцом шею и молчал. За последний год он еще заметнее подрос и возмужал.

После отъезда Маринки в Сибирь о ней совсем перестали вспоминать. Это была мучительная, запретная тема, тем более что Анна Степановна хотя и лежала в тяжелом параличе, но все слышала и понимала. Напоминал о Маринке лишь один конь Ястреб, приведенный Туле-геном из аула, великолепное призовое седло с ярко расшитым вальтрапом да старые, истрепанные, кое-где заштопанные Гаврюшкины брюки, в которых совсем недавно так беззаботно и радостно скакала она по привольной ковыльной степи.

Сегодня по дороге на прииск у Лигостаевых сломалось ярмо.

– Тут никакой сбруи не напасешься, скотину надорвешь, – распрягая волов, ворчал Гаврюшка.

– Не только скотину. У меня даже хребет трещит. – Присаживаясь на растопыренное осяю ветловое дышло, Петр Николаевич достал кисет.

Разналыжив² круторогих, рыжей масти быков, Гаврюшка пустил их на густую, подернутую инеем отаву и скрылся за кустом, чтобы выкурить свою, заранее скрученную сигарку.

– Да кури уж тут, чего там прятаться! – поглаживая поникшие усы, в которые заметно вкрапились седые волосы, остановил его отец. Он был мягок и добродушен. Сын открыто задыхался за кустом, но не вышел и не откликнулся. Разговор продолжался на расстоянии четырех-пяти шагов.

– Рад бы не чертоломить, да нужда заставляет, – продолжал Петр Николаевич.

– Да вроде и нет у нас особой нужды, – ответил Гаврюшка.

– Эко сказанул! Ты как будто и на службу не собираешься?

– Да уж как-нибудь обойдусь, – с прежней беспечностью ответил сын.

– Экипировку новую просишь? Две шинели, два мундира покупать надо, а деньги где?

– От продажи коня остались же? – возразил Гаврила.

В прошлом году на полученные из казны экипировочные деньги Лигостаевы купили на ярмарке рослого, породистого жеребчика, но не успели в свое время кастрировать его. Однажды весной жеребец сорвался с привязи, выскочил со двора и в драке с полубояровскими косячными был сильно побит. Пьяница коновал сделал ему операцию, но неудачно. Жеребец заболел и недужил почти все лето. Возились с ним долго, но так и не вылечили. Пришлось продать с убытком.

Петр Николаевич, понимая, куда клонит сын, напряженно молчал. Сумрак над тугаем стал темнее и гуще, а серые осенние тучи спустились еще ниже.

– А коня?.. О коне ты думаешь? – затапывая в измятой траве дымящийся окурок, нарушил молчание Петр Николаевич.

– А чего мне теперь о коне думать? – в свою очередь спросил Гаврюшка.

² Н а л ы г и – ремни на рогах.

– На чем же ты царю-батюшке службу служить пойдешь? – Отец приподнялся и снова присел. Под тяжестью его высокой и сильной фигуры дышло жалобно заскрипело.

– На Ястребе пойду. Этого небось не забракут, – выходя из-за куста, ответил сын.

– Вон как ты придумал!

– Тут особо и думать нечего, тятя. – Гаврюшка еще плотнее засунул под кушак рваную варежку. – Уж на этом ли красавце не послужить! – Он решил так в тот самый день, когда грустный Тулеген-бабай тихо ввел откормленного, выхоленного Ястреба на лигостаевский двор.

– Нет, сынок, Ястреба в казарму не отдам, – твердо проговорил Петр Николаевич.

Скуластое лицо Гаврюшки потемнело, широкие ноздри заметно вздрогнули. Он подошел к искалеченному ярму и начал вытаскивать из отверстия растянутый сыромятный гуж. Потные быки, тяжело посапывая, брызгая серебристой пылью инея, шумно выщипывали зеленую отаву. Над тугаем нависал тусклый, сероватый полдень. По краю полукруглого озера, где застрял воз, рос кустарник. По воде холодно пробежала хмурая осенняя рябь, судорожно тревожа косматый камыш. На вязнике трепыхались желтые, скрюченные листочки, сиротливо покачиваясь меж голых веток.

– Не злись, Гаврюша. Купим тебе другого коня, – смягчившись, заговорил Петр Николаевич, понимая, насколько велик у сына соблазн оседлать такого коня, как Ястреб. – Не обижу. Будет тебе строевой конь, а этого губить никак нельзя.

– Выходит, я его беру на погибель? – возмущенно спросил Гаврюшка.

– Ты хорошенько не подумал, на что ты замахиваешься.

– Я-то подумал...

– Оно и видно, до чего ты додумался...

– Вот именно, тятя! Для Маришкиного любовника ты коня не пожалел, а сыну для службы...

Слова Гаврюшки были настолько жестоки, что Петр Николаевич нашелся не сразу. Опомившись, он резко вскочил, бешено сверкнув потемневшими глазами, неожиданно вырвал из рук оторопевшего сына обломок ярма и замахнулся. Гаврюшка едва успел отскочить. Он никогда не видел своего отца таким разгневанным и страшным. Глаза как будто остановились, застыли, под сникшими усами побелевшие губы мелко дрожали. Не выдержав отцовского взгляда, Гаврюшка прыгнул в кусты. Вслед ему, дробно зазвенев железными занозками, полетел обломок ярма. Тяжело дыша, Петр Николаевич быстро зашагал прочь. Кто знает, о чем он думал в эту минуту? Над степью мрачно маячили крутобокие шиханы, сурово очерчиваясь каменными гребнями. Холодный синеватый туман застилал Петру Николаевичу глаза.

Часа два спустя Петр Николаевич верхом на Ястребе возвратился и привез запасное ярмо. На дышло надевали его вместе с сыном, но, оба мрачные, молчали. Заговорил Петр Николаевич, когда подъезжали к лесоскладу.

– Ястреба, помирать буду, а никому не отдам. А ежели Мариша вернется? Ее конь. Она больше нас с тобой понимала, чего он стоит. Это порода, дурень ты желторотый! От него надо племя вывести! Да за такую лошадь я кусок золота не возьму.

Напоминание о сестре крепко кольнуло Гаврюшку, но, помня отцовскую вспышку гнева, он промолчал.

Когда перед вечером вернулись в станицу, Стеша рубила для бани хворост. Увидев мужа, разогнула спину, улыбнулась и кинулась отпирать ворота.

– Мама как? – распрягая скотину, спросил Гаврила.

– Все так же... мычит и словечка не может выговорить. Ой, Гаврюшенька, силов моих нет, все сердце изболелось. Если бы не Сашок, пропала бы я.

Пастушонок Саша, которому с покрова уже пошел тринадцатый год, как остался после свадьбы Маринки, так и прижился, помогая Стеше по хозяйству.

– Тут еще пестрая телушка наша бычка принесла, доить не дает, брыкается. Мы ей с Сашком ноги спутаем и к сохе привяжем, а она, язвить ее, как увидит ведро, так норовит рогом поддеть, синяк мне вот тут посадила, – радостно щебетала Стеша. Подняв юбку, показала ногу с розовым на белом бедре пятном.

– Да что ты, бесстыдница, подол-то заголяешь! – Гаврюшка, покосившись на скрывшуюся в сенцах спину отца, взял жену за шею и привлек к себе. Стешка зябко всхлипнула и поникла на его плече.

– А с маленькой и не спросишь, вроде не твоя дочь, а подкидышек какой...

– Родила бы казака, а то придумала девку... Вырастет и убежит, как ее тетка. Голову отрублю!

Гаврюшка грубо оттолкнул жену и отвернулся. Сердце еще не остыло от схватки с отцом. Вымещал обиду на жене.

– Ты что? Я виновата? – заплакала Стеша.

– Ну не реви... Я сегодня с тятей не так еще схлестнулся...

– Взбалмошный...

– Ну будет тебе!

– А что ты меня и дочку виноватишь? – вытирая горькие слезы, продолжала Стешка.

– Степанида! Ради бога, не тронь! Меня сегодня чуть отец не убил, тут ты еще! Все сестра, сестра! Скорее бы в полк!

– И так недолго осталось ждать... За что же это он тебя?

– Не хнычь. Опосля расскажу. Баня готова?

– Еще разок подкинуть сухоньких... Сейчас dokonчу...

– Ладно. Я сам нарублю. Иди поесть что-нибудь собери.

Гаврюшка смачно плюнул на руки и шагнул к чурбаку. Однако жена поймала его за рукав, потянула к себе и, приблизив холодное лицо; зашептала:

– Из-за чего с папашей поскандалили?

– Ну сказал – опосля!

– Нет, говори сейчас! Никуда не уйду, – упорствовала Стеша. – А шло, дорогой мой муженек, ты на меня собак не спускай. Я день-деньской мыкаюсь с утра до ночи. Мамашу надо сколько разов в сутки перевернуть да прибрать за ней, с ложечки, как ребенка, накормить. А у меня свой на руках. Тут же коровы да овцы, утенки и куренки. Жисть моя хуже распоследней батрачки, а ты еще на меня голос поднимаешь. На коня тебе хочется? Ну и черт с тобой. Ска-тертью тебе дороженька... На четыре года!.. Ну и езжай, ну и скачи и ничего не рассказывай! Пропадите вы все пропадом!

Стешка заревела и побежала в сени.

– Вот же дуреха, – растерянно бормотал Гаврюшка. Хотел было побежать вслед, да раздумал и взялся за топор. Жену он любил, хоть и сетовал, что родила не сына, а дочь, любил и жил с ней в хорошем ладу. А вот последнее время, после случая с Маринкой, все пошло кувырком. Парализованная мать лежала пластом, отец все больше пропадал на лесоскладе, по субботам, приезжая домой, был мрачен, больше помалкивал. Иногда брал на руки черноглазую внучку, тетешкал ее в сильных руках. Девочка весело смеялась. Только тогда и теплел его взгляд, расправлялись на суровом лице морщинки...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В жарко натопленной избе Лигостаевых было как-то тягостно тихо. В кухне от банных испарений и свежесделанной овчины стоял густой терпкий запах.

Гаврюшка, перетряхнув привезенные овчинником кожи, собирался вынести их в амбар. Надевая высокую барашковую папаху, сказал Стеше:

– Пусть тебе новую шубу сошьют.

Стешка, склонившись, вязала иглами перчатки из козьего пуха. Серdito посмотрела на мужа. И не ответила. Гаврюшка, кинув на плечо связку желтоватых овчин, молча вышел.

– А у меня полушубок тоже весь расхулился, – заметил Санька. Он сидел еще за столом, вылавливал из глиняной миски бараньи куски крошенки и аппетитно обглаживал кости. К ужину мальчик опоздал – водил на вечернюю проминку Ястреба, которого он так любил, что мог пропадать на конюшне целыми днями. Он то и дело подкладывал Ястребу сенца, таскал украдкой куски хлеба, смахивал с его и без того гладкой шерсти малейшую соринку.

– Плохая у тебя шубенка, Сашок, правда. Скажу папаше, чтобы новую пошил, – работая иглами, отозвалась Стеша.

– Значит, я у вас так и наовсе останусь?

– А разве тебе у нас плохо? – спросила Стеша.

– Хорошо. Вот в школу ба... – вздохнул мальчик.

– Будешь ходить.

– Опоздали, теперь меня не примут...

– А может, и примут. Нагонишь. Ты головастый, – сказала Стеша.

– А кто же будет тогда скотину убирать, назем чистить?

– Все, сообща. Не целый же день ты будешь в школе торчать.

– Оно конечно... – по-взрослому подтвердил Сашок. Поблагодарил молодую хозяйку и отодвинул миску. У Лигостаевых ему было на самом деле хорошо: тепло и сытно.

Вошел Петр Николаевич и внес новое необделанное ярмо. Повесив дубленый полушубок на гвоздь, достал из-под кровати топор и начал обтесывать березовую болванку.

От стука в комнате замигала на столе лампа, в горнице застонала Анна Степановна, в зыбке заплакала маленькая Танюшка.

– Да что же вы, папаша, места, что ли, не нашли для этой арясины? – подходя к зыбке и расстегивая грудь, раздраженно проговорила Стеша. – Прямо уж не знаю...

Петр Николаевич виновато опустил топор. Поднявшись с чурбака, на котором обтесывал арясину, он взял ее с пола и прислонил к печке. После стычки с сыном он на самом деле не находил себе места. В бане мылся с Сашком. Ужинал один: проголодался и закусил в одиночестве. От общего ужина отказался. Долго потом сидел у постели Анны Степановны, с грустью смотрел на ее исхудалое, бессмысленное лицо. Позже вышел в хлев, бросил коровам пласт сена, обнял сучкастую осокоревую соху и заплакал – хлипко и бурно. Отвернувшись от него жизнь, не светлым днем стала заглядывать в душу, а темной, непогожей ночью. Кажется, что теперь постоянно завывает в трубе беспокойный степной ветер, уныло и сумрачно шелестит на дворе съезжившимися листьями корявый лигостаевский вяз. А ведь совсем еще недавно; этой же весной, сидела под ним Маринка и весело распевала свои девичьи песни.

Где она теперь? Петр Николаевич взял веник, смел вихрившиеся стружки к печи. Чурбак и топор снова засунул под кровать. Закурил и присел к столу, соображая, куда бы ему сходить и спокойно докоротать этот тяжкий, угнетающий душу вечер.

Стеша возилась с ребенком. Танюшка, выпростав розовые ножонки, причмокивая, сосала грудь.

– Да ты что, окаянная? – вскрикнула вдруг Стеша и дала Танюшке шлепка. Ребенок заплакал. – Моду взяла кусаться... Я тебе, шельмовка!

– Перестань, Степанида, – не выдержал Петр Николаевич. – Не трогай девчонку... Это еще что?

– Только вам можно. Вы вон сегодня чуть своего сына бревном не хрястнули. Это как, папаша? – Стеша злыми глазами посмотрела на свекра и отвернулась.

Петр Николаевич часто задышал и несколько раз глубоко вдохнул махорочный дым. Сашок еще ниже склонил белесую головенку над старым, замусоленным учебником Баранова, наверное, в десятый раз перечитывал стихотворение: «Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал».

– Не твое это, Степанида, дело, – попробовал Петр Николаевич урезонить сноху.

– Не за себя говорю, а за мужа! Вы вон коня пожалели... Незнамо для кого бережете... Один сын, а какая на нем справа? – беспощадно хлестала словами Степанида.

– Ты замолчишь или нет? – Петр Николаевич накрыл тяжелой ладонью стол и поднялся.

Стешка впервые видела его таким и женским чутьем угадывала, что свекор стыдится своего сегодняшнего поступка. Немудрым умишком своим она приняла это за признак слабости и закусила удила.

– Не замолчу, папаша! Вон берите ярмо и меня уж заодно!

– Ты дура, Степанида, и муж твой дурак... Не трогал я его еще пальцем, довел он меня... А уж трону, так не дай бог...

Петр Николаевич перекрестился, бросил в помойное ведро сигарку и направился к порогу. Снимая с гвоздя полушубок, он так посмотрел на сноху, что от черноты его глаз у Стешки захолодало под сердцем...

Дверь открылась. Вернулся Гаврюшка. Дыхнув на отца знакомым запахом папиросы, которую украдкой сунула ему жена, сказал ехидно:

– А к тебе, тятя, гостек пожаловал...

– Кто?

– Не сразу угадаешь.

– Да говори кто? – нетерпеливо спросил Петр Николаевич, чувствуя, как затомилось что-то в груди.

– Твой Тулеген-бабай... А с ним Микешка... Каких-то лошадей привели.

– Не хватало еще этих гостечков! – буркнула Стешка.

– Ставь самовар! – жестко и властно приказал свекор и, накинув на плечи полушубок, вышел в сени.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

...Самовар закипел быстро. Тулеген-бабай заговорил только после третьей пиалы. Микешка, выпив пару чашек, вылез из-за стола и присел с Гаврюшкой у порога. Дым выпускали в приоткрытую дверь и тихо говорили о предстоящей службе.

Степанида, убаюкав девочку, разливала чай.

Петр Николаевич и Тулеген разговаривали по-казахски. Понимал их только Микешка.

– Вот, Петька, привел я две кобылы. Самые лучшие кобылки, весной по жеребенку при-ташат. Во всей орде не будет таких жеребят, – вытирая сморщенное лицо чистым полотенцем, тянул Тулеген-бабай.

– Куда ты их ведешь? – спросил Петр. – На базар, что ли?

– Какой там базар! – переходя на русский язык, продолжал старик. – Сюда привел...

– А сюда зачем?

– Это уж ты думай, что с ними будешь делать... Наливай-ка, девка, ишо чашка... От спасибо тебе. Больна уж чай хароший! – побрякивал Тулеген.

– Ты что, бабай, шутить приехал?

– Какой шутка, Петька? Правду говорю. Тебе кобылки привел... Бери, друг, бери. Сена у тебя много?

– Я тебя не понимаю, старик. Что ты хочешь? – спросил Петр Николаевич, начиная сердиться. – Купить я не могу, денег у меня нет...

– Не надо денег. Так бери... Если ты не возьмешь, так Беркутбаевы возьмут. Мирза уже давно глаза пускает... А я их лучше зарезу, собакам махан брошу, а им не дам.

– Ты говори, что случилось? – Петр Николаевич давно понял, что старик приехал неспроста и не хочет все сразу выложить.

– Пока ничего не случилось. Я старый человек, борода уж совсем белая, помирать скоро буду, зачем такой большой косяк? Мне совсем мало надо, Петька...

– Я, друг мой, тоже ничего не хочу, – мрачно проговорил Петр.

– Плохо ты, Петька, сказал... Зачем так говоришь – ничего не надо? У тебя сын есть, сноха есть, маленький девка есть. Нельзя тебе так говорить, – покачал головой Тулеген.

– У тебя, наверное, за пазухой птица есть, бабай, а может, камень... Ударил бы сразу, – пытливо посматривая ему в лицо, сказал Петр Николаевич.

– Камня нету, Петька, – вздохнул Тулеген. – Бумага есть...

– Какая бумага? – насторожился Петр Николаевич.

– Арабскими буквами написана... Ты читать не можешь. Мы только сами можем читать по-арабски, – с гордостью заявил старик и полез за пазуху.

– Кто писал такую бумагу?

Тулеген-бабай вытащил конверт. Покосившись на Стешу, стал доставать письмо.

– Кто писал? Говори. – Петр Николаевич, будто ожидая удара, наклонил чубатую голову.

– Да известно кто... – тихо сказала Стеша. – Чего тут томить-то...

– Степанида! – Петр поднял голову.

– Что, папаша?

– Ежели хочешь сидеть, так сиди... А то в горницу ступай, – твердо проговорил он.

Стеша, торопливо вытирая чайное блюдце, осталась на месте. Налила полную пиалу и поставила перед гостем.

– Спасибо, сноха. Кодар и тебе поклон посылает... Для всех тут есть, – сказал Тулеген.

– Что еще пишет? – расстегивая воротник синей сатиновой рубахи, спросил Петр.

– Пару кобылок велел Куленшаку отдать, одну вон Микешке-бала.

– Микешке? – спросил Петр, чувствуя, как стынет у него во всем теле кровь: не даров ждал, а вестей о родной дочери.

– Маринка велела, – ответил старик. Бережно разглаживая письмо, растягивая каждое слово, продолжал: – Двое кобылок тебе, Петька...

– Мне не надо...

Петр Николаевич разогнул спину, прислонился к стене и начал крутить сигарку. Степанида видела, как у него тряслись руки и дрожал на поджатой губе правый ус. Он сидел от снохи слева и тяжело дышал. От порога поднялся Гаврюшка и сел рядом с Тулегеном на лавку. Микешка остался сидеть у двери. Они слышали почти весь разговор.

– Ну а ты что, сын, скажешь? – спросил у Гаврилы Тулеген.

– Отец – хозяин, бабай, – неопределенно ответил Гаврюшка.

Сцена была напряженная и мучительная.

– Мне можно сказать, дядя Петр? – вдруг спросил Микешка.

– Ну? – мрачно выдавил Петр Николаевич.

– А скажу я вот что, – взволнованно начал Микешка. – Ить дело-то сделано, ничем его, дядя Петр, не поправишь...

– Говори, говори, я слушаю, – накручивая на палец черный ус, сказал Петр Николаевич.

– Вы уж извиняйте, я, может, не так скажу... Меня вы, дядя Петр, знаете. Я у вас, можно сказать, мальчонкой на печке вместе с Маринкой рос. Все дразнили меня Некрещеным, так и в реестр записали. Мать-то мою казаки проклинали, а я вот вырос. Вы да Куленшак меня выкормили. Живу! Детишков ожидаю... А вот вдруг приди мать, я ведь ей в ножки поклонюсь, с отцом вместе, какой бы он ни был, ей-богу!

– Ну развел турусы на колесах, – перебил его Петр.

– А он верно говорит, тятя, – вмешался Гаврила.

– Что верно? Значит, по-вашему, дары принять, вроде калыма? А потом на мою голову те же наши станичники будут собак вешать?

– И пусть вешают! – подхватил Микешка. – Хуже того, что случилось, не будет, дядя Петр. Дайте мне досказать. Дочь ваша? Значит, и зять ваш, и внуки будут тоже ваши. А вдруг через годик-другой привезут двоих внучонков, вы что же, откажетесь от них, как от этих кобылок? Пусть, значит, пропадают? Аль в кадушке, как кутят слепых, утопите? Нет, дядя Петр. Люди они, вроде меня, грешного... Что бы там ни было, а я их завсегда приму и краюху хлеба с ними разделю, в беде не кину... Да и вы не такой, я знаю... Неловко мне, дядя Петр, вас слушать...

– Умная у него башка-то, Петька, – сказал Тулеген-бабай и постукал себя пальцем по лбу.

– Не дурак, слава богу, – начал Петр после небольшого раздумья. – Ладно. Расскажите, как они там живут?

– Письмецо мне Мариша прислала, – вставая от порога во весь огромный рост, заговорил Микешка. На нем была надета ладно сидевшая брезентовая куртка, в руках высокая пестрая папаха, наверное, из целого, но рябого барашка. – Прислала, не забыла, – продолжал он. – Ежели желаете, зачитаю. Сам-то я не очень... Даша у меня бойко читает. Как начнет, захлебнется и ревет... Я уж спрятал и с собой ношу, да и берегу я его...

Микешка вдруг замолк, словно о Кочку споткнулся... Не зная, куда деть свою папаху, вертел ее в руках. Жалостливо и беспомощно улыбнувшись, напялил на голову.

– Садись ближе к лампе, – сказал Гаврюшка.

– «Здравствуйте, дорогой мой и старый дружок Микеша! – начал Микешка. Письмо он выучил наизусть и читал почти без запинки. – Если Вы меня не забыли, то вспомните, что кланяются Вам и супруге Вашей Даше Марина Петровна и Кодар Куванышевич. Угнали нас так далеко, что не знаю, как все описать. Несколько дней мы ехали чугункой, а потом на пароходе. Арестантиков везли на барже, то есть на большущей лодке. А я ехала в каюте. Пароход

назывался «Иртыш», буксир, значит, который тянул эту лодку. Привезли нас на реку Лену, на золотые прииски. Хибарки тут в сто раз хуже, чем на Синем Шихане. Есть и большие дома. В них живут разные начальники. Я остановилась на квартире у одной старушки, в махонькой комнатухе, в саманной, кажется, избенке али просто сделанной из земли. Вымыла, вычистила ее, прибрала, кровать поставила и стулья купила. Здесь все можно купить, были бы деньги. А деньги у меня есть. Дедушка Тулеген дал, и Кодар тогда же оставил. Свила я себе гнездышко на чужой сторонухе. Мне бы жить в нем, но только тоска находит. Будто крылья мне обрезали и в клетку, как птичку, посадили. Думаете, я что-нибудь жалею? Нет. Такая уж мне выпала доля. Значит, так бог решил. Я нахожусь в положении и, говорят, месяцев через пять рожу. Первое время я много плакала. Кодара видела только тогда, когда носила ему пищу. Потом хозяйка, такая славная старушка, начала меня ругать, заставила купить всякие вещи и теплую шубу. Бабка за деньги кого-то уговорила, чтобы сняли с Кодара цепи и отпускали его с конвоиром домой. Неделю я жду, а в воскресенье у нас с ним праздник. Покамест я в церкви, его приводит конвоир, которого бабушка угощает водкой и пирогом с рыбой. Ему лафа, и нам было не плохо. Как-то раз Кодар пришел домой один, и мы убежали. Все бросили. Наняли лодку. Плыли ночью, а днем сидели в кустах. Куда мы плыли, я и сама про это не знаю. Нам хотелось добраться до наших степей, где бы нас не поймал никто. Так плыли мы семь ден. Харчи у нас кончились. Я пошла в какую-то деревню купить еды. Взяла у одного казака сушеной рыбы, масла и хлеба. Тут тоже есть казаки. Пошла я обратно, но в конце деревни мне попался навстречу стражник. Остановил, поглядел на меня и говорит: «Вот ты где, голубушка моя. Пойдем-ка со мной!» Повел он меня ни живую, ни мертвую в этапную и начал допрос снимать. Вечером туда же привели Кодара. Он ждал меня в кустах до вечера, а потом сам пришел. Слава богу, что нас не разъединили и оставили вместе. Правда, деньги все отобрали. Опять повезли назад. Я уже стала не вольная, а тоже каторжная. Раз он бежал, а я ему помогала, меня тоже сделали арестанткой. Как только доставили нас на место, началась настоящая каторга. Нас сразу же разлучили. Его посадили в одну тюрьму, меня в другую. Почти целый месяц допрашивали. Я рассказала все, как было. Один офицер, и тоже из казаков, сказал, что меня надо распять на кресте. Мучили меня, мучили, сколько я пролила слез, не знаю. Отпустили только недавно, но выезжать запретили и заставили расписаться. Мне это все равно, уезжать я никуда не собираюсь.

Опять я пришла к своей бабке Матрене Дмитриевне. Она приняла меня как родную. Тетка Матрена опять хлопочет о Кодаре. Вижу я его только раз в неделю, и то через решетку. Что дальше будет, сама не знаю. Муторно мне тут одной. Лежу ночью и клянусь себя, что попала, дура, этому стражнику. Надо было бы переулочком спуститься к реке, а я маленько заплуталась и не туда пошла. Вот и вся моя жизнь».

Микешка остановился. Сняв папаху, вытер стекленевшие на лбу капельки пота. Петр Николаевич, уставив глаза в одну точку, размазывал лужицу пролитого на клеенке чая. Гаврила, будто сложившись вдвое, ссутулился. Опустив длинные руки, засунул их в голенища серых, подшитых кожей валенок. Стеша, покусывая нижнюю пунцовую губу, морщила тонкие брови.

– Такие дела, Петька, – поглаживая седой клинышек бороды, нарушил это тягостное молчание Тулеген.

– Все, что ли? – спросил Петр Николаевич изменившимся голосом.

– Нет. Ишо тут про вас и вашу семью написано, – робко ответил Микешка.

– Давай. Шапку-то положи. Чего ты ее в руках тискаешь? – сказал Петр.

– «Дорогой Микеша! Загляни к нашим и узнай, как они там живут. Мама как, хворает или выздоровела? Тятю повидай, поклонись ему, но, ради господ бога, прошу тебя, не говори им обо мне ничего! Я уж теперча все равно что отрубленный напрочь палец, и касаться до него не надо. Пусть забудут они меня навечно... – Степанида всхлипнула и потянула к глазам

конец полотенца. – Стыд, который я им принесла, и горе горькое пусть все будет на мне, – не поднимая головы, читал Микешка. – У бога и у них я попросила прощения, а у людей просить не стану. Я еще не былинка под ракитовым кусточком и стоптать себя али сломать совсем не дам. Дите рожу, своими руками его выпестую, грудью своею выкормлю, на коне скакать его выучу!»

Вдруг из горницы тихо открылась дверь, и на пороге возникла высокая фигура в белом. Распущенные волосы Анны Степановны почти закрывали ее исхудавшее лицо. Повернувшись боком, она стала медленно падать на пол. Гаврила вскрикнул и бросился к ней. Вскочили и остальные.

На столе тускло замигала лампа. Серая кошка, взъерошив шерсть, юркнула за трубу и тоненько мяукнула. Сашок-пастушонок, первый раз в жизни увидевший смерть, тоже хныкнул котенком и, повернувшись, прижался лбом к печке. В окна сквозь осеннюю темень одиноко заглядывала и подмигивала светлая вечерняя звездочка, похожая на далекий, но яркий светлячок. Микешка часто замигал, подошел к окну и задернул ситцевую занавеску. В зыбке проснулась и заплакала Танюшка.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В ноябре было морозно и солнечно, а снег, казалось, и не думал покрывать высохший на пиханах ковыль. В сухой осенней прозрачности гулко звенела застывшая земля. Из маленькой избушки, стоявшей в конце саманной улочки, вышла Устя Яранова, в черной дубленой шубейке с серой барашковой опушкой, в белом теплом платке. В руках у нее было два ведра, на плечах гнущее коромысло. Выйдя на центральный приисковый шлях, она направилась к роднику. Навстречу ей, от главной приисковой конторы, мягко пыля резиновыми шинами, катилась пролетка, запряженная парой грудастых сивых рысаков. Поравнявшись с Устей, пролетка внезапно остановилась. В открытом задке, кутаясь в широченный, мохнатый, из козьего пуха шарф, сидел Иван Степанов. Он был краснощекий, напыщенно важный, заметно начавший оплывать нездоровым жирком.

– Мое вам нижайшее, барышня расхорошая, – поднося к черной каракулевой папахе новенькую, скрипящую желтой кожей перчатку, проговорил Степанов. Уезжая от свата, он успел заглянуть к его экономке на кухню и основательно перекусить под рюмочку.

Растерянно краснея от неожиданной встречи, Устя поздоровалась и посторонилась. Бывая на прииске, Иван давно приметил миловидную конторщицу и не раз пытался с ней заговорить. Холодея в душе, Устя отвечала ему невпопад и всегда опускала голову. Урядницкий вид Степанова-старшего пугал ее.

– Разговор у меня серьезный есть. – Иван Александрович степенно сошел с пролетки; обращаясь к кучеру Афоньке, добавил: – Отъезжай за уголок и дожись.

Крупные кони, нетерпеливо побрякивая наборной сбруей, яростно стуча подковами о мерзлую землю, так рванулись вперед, что Афонька едва сдержал их на ярко-красных вожжах.

Грузно покачиваясь на узконосых лакированных сапогах с широкими сборенными голенищами, Иван степенно, вперевалочку подошел к Усте.

– Часом слышал я... – Иван Александрович поперхнулся словом и умолк, смешно открыв рыжеусый рот. – Слышал я, школу затеваете на прииске, ребятишек учить собираетесь, похвально очень-с!

– Да, был такой разговор, еще при Тарасе Маркеловиче, – поспешно ответила Устя.

– При Тарасе? – Иван, не снимая перчатки, потрогал ус, насупился: – Тараса и я добром вспоминаю, но не в этом суть.

– А в чем же? – звякнув ведрами, тихо спросила Устя.

– Может, прокатитесь со мной до станицы, там бы и покалякали? – Маленькие глазки Степанова приоткрылись, обнажая тусклый их блеск, похожий на застывший ледок. Усте от этого взгляда стало жутковато.

– Бог с вами, господин Степанов! – Она перекинула коромысло с одного плеча на другое и, чтобы хоть как-то сгладить неловкость, добавила: – Разве нельзя здесь поговорить?

– Какой же разговор посреди дороги, тем паче в такой праздник? – возразил Иван.

– Да, сегодня Михайлов день, – подтвердила Устя. – Я насчет школы...

– Знаю, что вы учительша, и все другое про вас мне шибко известно, – решительно прервал ее Степанов. – Насчет школы пусть сват Авдей кумекает, он мастер считать денежки. Школа-то ведь денег стоит, а я другое хочу.

Закусив нижнюю губу, Устя выжидательно молчала.

– Я хочу к своей дочке вас пригласить, чтобы вы с ней позанимались и поучили ее французскому языку, да и сам я маненько желаю попробовать...

– И вы тоже? – Устя вскинула на него свои ясные, чистые глаза, чувствуя, что никак не сможет погасить вспыхнувших в них веселых искорок.

– А разве мне нельзя? – в упор спросил Иван.

– Отчего же нельзя, – смутилась Устя.

– То-то и оно! Вон брательник Митька пожил в Питере чуть, а как по-французски лопочет? Вовсю режет. Ему и Марфа подсказывала, да еще и учительшу нанимали. Они как промеж себя начнут трещать, я сижу и только глазами хлопаю. Может, меня по всякому костят, откуда я знаю! А я тоже вскорости поеду в Питер, а то возьму да и в Париж махну.

– Вам можно и в Париж, – улыбнувшись, кивнула Устя.

– Куда хочешь могу! – храбрился Иван, чувствуя, как блаженно начинает действовать крепкое угощение доменовской экономки. – Соглашайтесь, барышня, жить будете у меня в отдельной хоромине, на готовых харчах, жалованье положу, какое сама захочешь. А как только малость подучимся, вместе и дунем парижское винцо пробовать... И-эх, и кутнем же!

Все больше угорая от выпитого вина и вишневой настойки, Степанов смотрел на Устю заплывшими глазками, суля ей королевские блага. На поселке, где-то совсем близко, стонала-ухала драга, свистели ребятишки, женский голос призывно кликал: «Уть, уть, уть!»

– Спасибо, господин Степанов, за предложение, – в замешательстве проговорила Устя. – Французский язык я уже давно позабыла. Прощайте.

Круто повернувшись, она скорыми шажками пошла прочь, с ужасом думая о том, как похож хозяин прииска на того конвойного урядника с кошачьими усами, о котором ей горько поведала Василиса.

Иван долго провожал ее осоловевшими глазами, силясь понять, почему отказалась и так быстро ушла эта гордая, непонятная каторжанка?

– А бабеночка, я вам скажу, Иван Лександрыч, сахар-мед! – помогая хозяину подняться на сиденье, с ухмылочкой прошептал Афонька.

– Да ить благородные, – они все... – Иван не нашел подходящего слова и умолк.

– Эта благородная давно уж с булгахтером путается, – влезая на козлы, ответил Афонька.

– С каким еще таким булгахтером? – грозно спросил хозяин.

– Да с тем самым, которого тогда Маришка Лигостаева в тугае подобрала.

– А не врешь? – У Ивана что-то начало проясняться в полупьяной башке.

– Икону могу снять, Иван Лександрыч, – заверил Афонька.

– Икону? Вот как!

– А что? – обернувшись, спросил Афонька.

– Ничего, брат! Булгахтеру этому пристав Ветошкин давно уже кандалы приготовил. Пошел!

Сивые кони, захлебываясь трензелями, зло зафырчали и гулко покатали пролетку по застывшим кочкам.

Не оглядываясь, крепко сжимая бренчавшие в руке ведра, Устя почти бегом спустилась с пригорка к околице. Лицо ее пылало. Приглашение хозяина учить его французскому языку, а потом поехать с ним «парижское винцо пробовать» было отвратительным, и оно пугало ее. Устя переживала сейчас не только свою двадцать пятую осень. Быстро промелькнувшее лето принесло ей много радости, какой она не испытывала никогда в жизни. Все шиханы казались ей ярко-голубыми и сулили счастье... Еще более радостными были длинные осенние вечера, когда вместе с Василием Михайловичем они засиживались допоздна у него на квартире, а потом вместе выходили из домика и, взявшись за руки, тихо шагали по пустынному поселку. Иногда встречавшиеся в темноте люди узнавали их и почтительно уступали дорогу. О их ночных прогулках на прииске стали втихомолку поговаривать, судить, рядить и домысливать по всякому. Угрюмая, мрачноватая сноха Якова Фарскова однажды заговорила в продуктовой лавке открыто.

– Неужели все каторжные так и живут по разности?

– Как это по разности и кто, например? – подчеркнуто резко спросила Василиса.

– Да вон хоть бы Лушка с Булановым: фамилии разные, а двоих народили, и оба некрещеные...

– А тебя самое-то кто крестил? – намекая на ее староверскую принадлежность, напористо спросила Василиса.

– У нас по своему обычаю... – смешалась Александра и начала торопливо складывать в холщовую торбу разные кулечки с покупками. Словно оправдываясь, добавила: – Я ведь не про тебя.

– Ну а про кого же еще? – Василиса шумно пододвинула бутылку под зеленый ручеек конопляного масла. От стен недавно выстроенной лавки пахло расщепленной сосной, от полок шел спертый запах дешевой карамели, ваксы и лавра.

– На кого ты еще намекаешь, скажи, пожалуйста? – наседала Василиса.

– Да хотя бы на твою подружку, которая вон все ночи напролет с конторщиком воркует.

– Уж это ты оставь! – Светлые глаза Василисы вдруг остановились, а щеки густо порозовели.

– Не одна я видела, а все говорят, – потупив глаза, ответила Александра.

– А ты поменьше слушай и сама перестань глупости болтать всякие, – напустилась на нее Василиса. – Мы вместе живем, и я лучше тебя знаю, как она воркует по ночам на мокрой от слез подушке.

– На каждый, как говорится, роток... – попробовала Александра защищаться.

– Про меня тоже плели, что я стала голубкой... урядника Хаустова. А я так его приголубила, чуть на второй срок не пошла. Думаете, что если мы побывали на каторге, так за себя не можем постоять? Шалишь, тетенька!

На тонкой коже Василисиного лица горел словно нарисованный гневный румянец. Схватив с прилавка наполненную маслом бутылку, она быстро удалилась.

– Ишь какая сердитая! – добродушно заговорили оставшиеся женщины. – Такую и впрямь не больно обидишь.

Услышав от Василисы о бабском разговоре в лавке, Устя расстроилась и как-то увяла.

– Да вам-то что, пусть болтают, – успокаивала Василиса подругу. – Может, я зря вам сказала об этом. Вы уж, Устинья Игнатьевна, простите меня.

– Сколько раз я тебе говорила: не называй меня на «вы»! Мы с тобой одногодки, понимаешь? – рассердилась Устя.

– Мало ли что... Вы образованная, а я простая девка рязанская, судомойка помещикова.

– Ах боже мой! Когда ты наконец бросишь эту рабью привычку? – возмущалась Устя.

Она подошла к кровати, прилегла на подушку. Закрыв лицо платком, продолжала грустным голосом:

– У нас ведь вроде и другого имени нет, каторжные – и все, а раз так, значит, мы на все способны. А ведь не знают шиханские бабы, что, кроме отца, меня никогда ни один еще мужчина не целовал...

Василиса под села к ней на край постели, взяла за руку и неожиданно заплакала.

Устя вскочила и обняла ее за плечи, ласково тормошила, гладила ее мягкие волосы.

– Ну а ты чего вдруг? Ты-то чего плачешь?

– А затем, – сквозь слезы говорила Василиса, – затем, что страшное я в жизни испытала. – Немного успокоившись, продолжала: – Вот вы сказали, что вас еще никто ни разу не поцеловал, да ведь и меня тоже... Только вот однажды конвойный унтер отозвал на привале и в кусты завел... Не могла я с ним сладить... До того муторно было, что думала – умру потом... Кошкoderом его звали арестанты, потому что не любил он кошек, как увидит, так непременно прибьет. И сам-то он с растопыренными усами на кота был похож. Бывало, как увижу кого с усами, того унтера вспоминаю, и так тошно мне делается, так лихо, Устенка, хоть в петлю!..

Как только вы выйдете за Василия Михайловича, я тоже уйду с прииска, – призналась Василиса.

– Куда же ты надумала?

– А в станицу.

– Ты что, уже и место нашла?

– Покамест только так еще... – ответила Василиса и потупилась.

– Как это так?

– Есть тут один вдовый... – Василиса наклонила голову.

– Неужели влюбилась? Кто же он? – с нетерпением спросила Устя.

– В этом вся и загвоздка, – вздохнула Василиса. – Хоть и дети у него взрослые и внучка есть, а мне все едино, с таким хоть на каторгу, хоть на тот свет.

– Ты, Василиска, с ума сошла! – Устя всплеснула руками.

– А разве я не понимаю, что этого нельзя? – Василиса снова судорожно вздохнула.

– Вот это да! – поражалась Устя. – Ты хоть виделась с ним, говорила?

– Видела его часто, а говорила только один разочек...

– О чем же вы говорили?

– Да ни одного словечка путем... Народу было кругом...

– И где же это было, и кто он такой? – допытывалась Устя.

– Этого я не могу сказать.

– Почему?

– А может, это так, потом все пройдет, а люди узнают и смеяться начнут, а мне сейчас не до смеху... Вот вы научили меня писать, читать. Через вас я первый раз в жизни лапти сбросила и кожаные полусапожки надела. В город поехала, хожу по улочкам и вывески на всех лавках перечитываю и кричу про себя: «Умею, я умею!» А полусапожки скрипят. Я и земли под собой не чую... Потом книжки начала читать, которые вы приносили. Теперь мне хочется хорошо о людях думать...

В узенькое окно саманной полуземлянки лился светлой полоской веселый солнечный свет, ласково падал на синеватую от побелки стену и висевший над кроватью коврик.

Устя встала, сняла с вешалки шубу, быстро оделась. Она взяла ведра, вышла по тропинке за околицу. По Шиханскому шляху вместе с потерянными ключьями сена курились верблюжьи колючки. Рядом с наезженной дорогой, на приисковых штреках в бугрившейся пустой породе копались ребятишки. Тут же по-осеннему уныло бродили серые вороны. Устя подошла к тому месту, где в свое время старик Буянов обнаружил золотые самородки. Сейчас здесь все уже было выработано. Родник глубоко вычищен и в три венца обложен свежим сосновым срубом. На степановской пашне теперь ютились саманные избенки приисковых рабочих.

Около сруба стоял запряженный в ветхую телегу белый верблюд. На растопыренных березовых стояках лежала дубовая бочка с новыми металлическими обручами. Смуглый, подросток Кунта, в серой, из заячьего меха шапке с длинными, торчащими врозь ушами, черпал ведром воду и выливал в бочку. Он теперь стал на прииске водовозом, снабжал родниковой водой отдаленные хатенки и ближних ленивых хозяек, получая по копейке за ведро. Он терпеливо копил деньги и своими далекими мечтами непременно стать богатым до слез смешил Василия Михайловича и Устю.

– Здравствуй, Кунта, – ставя на землю ведра, проговорила Устя.

– О, здравствуй, тетяка Уста! – радостно приветствовал ее Кунта.

– Ты чего не приходил учиться? – спросила Устя.

– Охо-хо, хозяйка! – Кунта отбросил черпак в сторону и провел рукавом холщовой куртки по лицу. – Эх, дорогой мой человек! Целый день туда-сюда воду тащить нада, потом верблюда пасти, потом кашу варим с братом, а придет вечер, как дохлый лягу – и айда спать.

– Устаешь? – сочувственно спросила Устя.

- Хуже верблюда.
- Ну а сегодня придешь?
- Пришел бы, да вот к хозяину жана приехала. Воды таскай, дров руби, баню топи...
- Кто же тебя заставляет?
- Сам я. Мало-мало денежки получать надо же!
- Накопил поди уж? – Устя посмотрела на его рваные, растоптанные сапоги.
- Только чуть-чуть еще...
- Ты бы лучше купил себе сапоги, а то простудишься.
- Ничего. Сапоги брат починит. Он все умеет... Сначала лошадь будем покупать.
- Зачем тебе еще лошадь, у вас же есть верблюд?
- У меня-то есть, а у брата ничего нету. Ему лошадь надо, калым платить тоже надо.

Старший брат скоро будет себе жану брать... А как возьмешь ее без калыма, ну-ка скажи? – Кунта посмотрел на Устю и лукаво прищурил и без того узкую прорезь глаз.

- Пусть найдет русскую, тогда и калыму не надо, – пошутила Устя.
- Ого! Друг! – Кунта внушительно покачал своей заячьей шапкой. – На русской...
- А что?
- Эге! Хо-хо! – Кунта снова взялся за черпак.
- Что ты все хохочаешь? – возмутилась Устя.
- А то, что за русскую-то в Сибирь пойдешь, дорогой человек!
- Не говори глупости, чудак ты этакий! – возразила Устя.
- Какой такой чудак! Кодар-то взял русскую – и айда!
- Вспомнил... – Устя растерянно выпустила из рук коромысло.
- Конечно, помним! Видал я, как ему руки железом спутали, потом казак с ружьем в

Сибирь его погнал!

Кунта взял черпак и начал наливать в бочку воду, искоса поглядывая на свою учительницу, видел, как она молча покусывала губы. Ему вдруг стало жаль ее. «Наверное, зря все-таки я напугал девку казаком с ружьем», – подумал Кунта и, чтобы исправить ошибку, проговорил:

– Зачем сама за водой пришла? Сказала бы мне, я бы тебе целую бочку притащил и денег не брал бы ни одной копейки...

– Надоед ты, Кунта, со своими копейками! – сердито проговорила Устя. – У тебя на уме только деньги да лошади...

– А без лошади как можно казаку? А вон Тулеген-бабай какую Микешке кобылку давал? Ого! Вон он идет, Микешка-то, и барана тащит! У меня тоже много будет баранов...

– Тебе не о барашках нужно думать, а чаще приходите ко мне учиться! Человеком станешь.

– Когда буду богатый, на муллу выучусь...

С Усти сразу слетел весь ее назидательный тон. Не сдержав смеха, она шагнула вперед и споткнулась о ведро. Они с грохотом покатались с пригорка.

– Ай-ай! – Кунта отбросил черпак и помчался за ведрами.

– Значит, муллой будешь? – принимая от него ведро, переспросила она.

– Очень хорошо быть муллой, – вздохнул Кунта. Подмигнув Усте, продолжал: – Борода большая, чалма белая и три жаны.

– Зачем же столько жен?

– Сколько у меня будет кунаков! Чай кипятить надо? Бешбармак варить, доить кобыл, кумыс заквашивать? Школу тоже открою...

– Какую школу?

– Мальчишек стану учить по Корану. Сяду в юрте, как царь-патча, рядом камчу положу.

– Бить станешь?

– А как же! Я у муллы две зимы учился. Все муллы так делают. Озорники ведь мальчишки, мало-мало кровь пускать надо, а то совсем слушаться не будут.

Ведя на веревке барашка, подошел Микешка и поздоровался. Посмеиваясь, Устя рассказала ему о мечте Кунты.

– Другой раз зайдет вечером и такое сморозит! – проговорил Микешка. Посматривая на покрасневшую Устю, спросил: – А вы, Устинья Игнатьевна, совсем перестали к нам заходить.

– Да как-то времени нет, – смутившись, быстро ответила Устя.

– Я, Микешка, помогать приду, – наполняя Устины ведра, сказал Кунта. – Вместе зарежем твоего баранчика. Кишки и требуху отдашь мне?

– Отдам, – добродушно ответил Микешка.

Попрощавшись с Устей, он потянул барана к дому, где жил Доменов. Кунта, тронув своего верблюжонка, помахивая кнутом, затарахтел бочкой.

Устя, нацепив на коромысло ведра с водой, стала медленно подниматься на пригорок. Над саманными свежепобеленными избенками радужно курился дымок. Группа рабочих башкир, не признававших праздника, растаскивали черные бревна сгоревшей промывательной фабрики. Слышался скрежет падающих бревен; вихрившаяся над пожарищем сажа разносилась по поселку и оседала на крышах. Темнорукие, в лисьих и волчьих ушанках временные рабочие, раскатывая бревна, орудовали слегами. Обойдя это памятное пожарище, Устя свернула в свой переулок и вошла в сени. Поставив ведра, она разделась. В продолговатой землянке они занимали с Василисой одну комнату с маленькой кухней. Дверью в комнату служила синяя домотканая дерюга, служившая Василисе во время ее мытарств одеялом и периной. Откинув дерюгу, Устя посмотрела на Василису. Гладко причесанная на пробор, она стояла с оголенными руками у корыта и стирала. Мягкие светлые волосы Василисы, заплетенные в две тяжелые косы, жгутами лежали на белых, забрызганных мылом плечах. Покачиваясь сильным телом, она терла куском мыла брезентовую робу. Почувствовав, что на нее смотрят, она обернулась. Устя стояла в дверях, как в рамке, пристально разглядывала покрасневшую от стирки подругу.

– Может, что у вас грязное есть, бросайте, заодно уж, – проговорила Василиса. У нее было чистое, продолговатое лицо, небольшой, чуть хрящеватый нос. Напряженный и нервный изгиб бровей и полноватых губ говорили о силе и твердости характера.

– Спасибо, у меня все чистое, – сказала Устя. Держась за косяк, продолжала: – Гляжу на тебя и думаю, какая ты, Василиса...

– Думаете, наверное, вон какая дуреха, взяла да и выбрала деда внучатого... – улыбаясь, проговорила Василиса.

– Не о том я, – задумчиво ответила Устя.

– У кого что болит...

– Значит, крепко зацепил он твое сердечко? – Устя подошла к рукомойнику и вымыла руки.

– Да крепче некуда.

– Так что же, хочешь к нему в батрачки наниматься?

– Может, и так.

– А дальше что?

– Там видно будет...

– Даже мне не хочешь признаться, – с упреком сказала Устя. – Ну что же, я пошла.

– А вы далеко собираетесь? – спросила Василиса.

– К Даше хочу сходить. Микешу встретила, его скоро на службу возьмут. Даша плачет.

– Будет жить, как все солдатки.

– Но она в положении.

– Значит, еще лучше, не одна будет – с дитем.

– Ну что ты, Васена, за человек! – Устя поцеловала подружку в щеку и убежала.

Домой вернулась Устя в сумерках. В кухне было жарко натоплено. В печке стояла каша в глиняном горшочке и горячий чайник. Обо всем позаботилась Василиса, но сама куда-то ушла. Есть Усте не хотелось. Выпив чашку теплого чая, она взяла книгу и прилегла на кровать. За окном чей-то мужской, тоскливый голос пел под хрипатую гармонь незнакомую грустную песню. Тусклый свет керосиновой лампы резал глаза. Странно и тоскливо было думать, что сегодня первый раз она весь вечер будет одна. Заунывные звуки гармошки печально трогали сердце. Несколько раз Устя вскакивала с кровати и подходила к висевшей на стене шубейке, но тут же опускала руки, садилась на кровать и, скомкав подушку, плакала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Василий Михайлович сидел у себя дома и что-то увлеченно писал.

Вошла пожилая кухарка, обслуживающая Кондрашова, двигая густыми, русыми бровями, спросила:

– А как насчет самоварчика, Василий Михалыч, ставить сегодня аль нет?

– Непременно, Прасковья Антоновна, – не отрываясь от бумаги, сказал Кондрашов. – Непременно! Наверное, скоро Устинья Игнатьевна придет.

– Запоздывает сегодня ваша гостья, – заметила Прасковья.

Кондрашов взглянул на часы и ахнул. Время показывало десятый час.

– Как же это так? – Василий Михайлович вопрошающе посмотрел сначала на кухарку, а потом снова на часы. – Неужели столько времени? – Он приложил часы к уху. Часы стучали, равномерно отсчитывая секунды.

– Время пропасть сколько! – откликнулась Прасковья. – Семь-то у хозяина било, когда я от всенощной шла, а теперь поди скоро и полночь.

– Ну, предположим, до полночи еще далеко, – возразил Кондрашов и тут же испуганно спросил: – А вдруг захворала?

– Все может быть, – кивнула Прасковья. – Так греть самовар-то?

– Обязательно греть! Должна быть, – убежденно проговорил Василий Михайлович и поднялся со стула. Он был в белоснежной, заботливо отутюженной рубашке, в отлично сшитом жилете, хорошо подстрижен и тщательно выбрит. Быстро собрав в кучу разбросанные бумаги, он прошелся до порога и тут же вернулся к столу, смутно прислушиваясь к тихому голосу Прасковьи.

– Один разок не явилась, а вы уже и забегали, будто какой молоденький... Ох грехи наши тяжкие! – Прасковья перекрестилась.

– Вы о чем? – остановившись перед нею, спросил Василий Михайлович.

– А о том, что жениться вам пора и – концы в воду...

– Какие такие концы?

– Не маленький, сам понять должен, как порочишь девку-то, – с грубоватой простотой ответила Прасковья.

Осененный жгучей, нехорошей догадкой, Кондрашов раскрыл было рот, но подходящих слов не нашел. Взглянув на упрямо стоявшую перед ним Прасковью, нахмурился, проговорил сухо:

– Ладно, Прасковья Антоновна, ставьте ваш самовар все-таки...

«Вот ведь, брат, какая история, а?» – Василий Михайлович растерянно остановился посреди комнаты. Абажур настольной лампы бросал вокруг тревожный свет. Высокая стопка бумаги с ровными, мелко написанными строчками лежала на краю стола. В этих еще теплых строчках жили, трепетно бились самые жаркие, сокровенные мысли. О них даже Устя не все знала... Своим приходом она всякий раз отвлекала его от вечерних занятий. Тогда они начинали беседовать и чаевничать до петухов. Это уже стало привычкой. Прошло еще полчаса, а Усти все не было. Только сейчас Василий отчетливо понял, что слова Прасковьи имеют прямое отношение к тому, что сегодня не пришла Устя. Ему было очень неловко, что он не подумал об этом раньше. Наскоро одевшись, он вышел на улицу. В доме, где жил Авдей, ярко светились окна. Доносился раскатистый, многоголосый хохот. Очевидно, пир был в самом разгаре. У крыльца стояли коляски, пофыркивали застоявшиеся кони, на козлах маячили остроконечными башлыками стывшие на холоде кучера, стеля по пыльной земле мохнатые от луны тени. Миновав доменовский особняк, Василий пробежал по узкому переулку и без стука влетел в

белую, словно приплюснутую к земле мазанку. Устя, услышав скрип открывающейся двери, вскочила с кровати и приоткрыла край полога.

– Вы? – испуганно спросила она.

– Как видите, – тяжело переводя дух, проговорил Василий Михайлович. – Извините, что я так вдруг, – удивляясь своей мальчишеской дерзости, бормотал он.

– Ну что там, – чуть слышно прошептала Устя.

– А я просто не знал, что и подумать, взял да и прибежал.

– Заходите. Я одна дома, – растерянно предложила она, стараясь отвести заплаканные глаза.

– Может быть, сразу пойдемте пить чай? Самовар скучает без вас, клокочет, прямо чуть не плачет, – попробовал шутить Кондрашов. Однако шутка получилась невеселая.

Устя грустно и отчужденно молчала.

– Что с вами, Устинья Игнатьевна? – Василий Михайлович взял ее за руку и заглянул в глаза. Теплая, вялая рука слегка задрожала. Устя осторожно высвободила ее, тихонько вздохнув, сказала:

– Не обращайтесь внимания. Сидела вот тут, думала. Ну и захандрила маленько. Очень рада, что вижу вас. Сейчас оденусь, и мы пройдемся.

Спустя час они уже входили в квартиру Василия. Услышав их шаги, Прасковья сползла с лежанки. Поздоровавшись с Устей, стала накрывать на стол.

– А мы тут все глазоньки проглядели, – звеня посудой, с чрезмерным вниманием и ласковостью говорила Прасковья. – Что же это, думаем, такое делается? Уж не захворала ли наша дорогая барышня?

Кутаясь в белый шерстяной платок, Устя неловко молчала. Теперь все ее здесь смущало: и поздний час, и большой диван, обитый черной клеенкой, и низкая, чисто застланная постель с двумя жесткими казенными дедушками. В те счастливые денечки Устя иногда запросто клала голову на подушку и слушала, как Василий рассказывал о тайнах бытия и жесточайшей борьбе, начиная с жизни на Ленских приисках и кончая боями на Красной Пресне в октябре 1905 года, участником которых он был сам лично и во время которых даже получил осколочное ранение. Сейчас Устю смущали любопытствующие Прасковьины глаза, лукаво рыскающие под белесыми кустистыми бровями. «Хоть бы ушла скорее!» – вдруг подумала Устя и покраснела.

– Вот и хорошо, вот и отлично-с! – потирая застывшие на улице руки, неизвестно чему радовался Василий Михайлович. Ему тоже было явно не по себе, да и Устя не могла скрыть своего беспокойного состояния.

Прасковья Антоновна, видимо, это поняла. Обмахнув принесенный ею самовар полотенчиком, спрятав руки под розовый, с цветочками передник, произнесла со значением:

– Ну я пойду, лебеди мои, а вы уж тут одни располагайтесь...

– Да, да! Спасибо! – засуетился Василий Михайлович, чего сроду с ним не было. – Идите отдыхайте, Антоновна, да мы уж тут как-нибудь одни, – не скрывая радости, улыбался, приглаживал щетинистые волосы, поправлял свой жилет. Пригласил Устю к столу, осторожно придерживая за локоток.

– А вы сегодня тоже какой-то новый, – заметила Устя.

– Как то есть новый? – немножко опешив, спросил Василий.

– Торжественный уж очень. – Устя села на клеенчатый диван.

– Виновато себя немножко чувствую, вот и начал церемонии разводить. – Василий растегнул воротник черной сатиновой рубахи и налил чаю. От клокотавшего самовара уютно пахло тлеющими угольками и свежесваренным чаем.

– Чем же вы провинились?

– Заработался – и про вас забыл... Начал пересматривать свои маньчжурские записи и увлекся... Я вам как-нибудь прочту. Вы пейте чай с кренделями. Прасковья мастерица печь

крендели... Как-то очень круто их месит, потом сыплет на под печки сено и на сене выпекает. Душистые получаются, цветами пахнут. Вкусно!

– А мне что-то и чаю не хочется, – не притрагиваясь к налитой чашке, сказала Устя.

– Так чем же вас угощать?

– Ничего не нужно...

– Вы тоже сегодня странная, – задумчиво проговорил Василий. – Может, нам вина выпить немножко? – предложил он. – У меня есть даже заграничное, хозяйское. Сегодня по случаю приезда жены господин Доменов пирует. Я отказался пиршествовать, так мне домой прислано... Видите, в каком я теперь почете... Хотите попробовать?

– Давайте попробуем, – согласилась Устя.

Выпили по маленькой рюмочке и закусили разломленным пополам кренделем. Василий разговорился о Доменове, о неудаче со школой, о новом управляющем, о будущих на прииске преобразованиях, о хищнических замыслах хозяина. Он увлекся и только под конец заметил, что Устя его не слушает, а думает совсем о другом. Она рассеянно вертела в руках рюмку и печально смотрела на крышку воркующего самовара. В комнате было тепло и тихо, но Устю почему-то уют давил и угнетал именно своей чистотой и благоустроенностью, а вкусное, ароматное хозяйское вино неприятно жгло и туманило, кружило голову.

Взглянув на нее, Василий Михайлович неожиданно закашлялся и растерянно умолк. Потянувшись к бутылке, он налил себе еще вина. Устя, закрыв рюмку рукой, отказалась. Он неторопливо выпил один и запил вино горячим чаем.

– Наверно, простудился немного... – вытирая платком губы, глухо проговорил он и, поглядывая на Устю, спросил: – А вы все-таки, милая моя помощница, расскажите, что с вами приключилось? Про меня сказали, что я новый... Вы угадали... Но и вас я не узнаю... Гложет вас сегодня какая-то букашка...

– Трудно об этом говорить, Василий Михайлович. – Устя сняла с плеч шаль и повесила ее на спинку стула. На желтую, с синими цветочками кофточку устало легли пряди выющихся волос. Лицо Усти пылало.

Василий сдержанно кашлянул и отвел глаза, чувствуя, как у него радостно забилося сердце.

– О личном, Устинья Игнатьевна, всегда говорить трудно...

Карие глаза девушки вспыхнули и напряженно заблестели, готовые брызнуть слезами.

Кондрашов видел, что Устя сильно возбуждена и расстроена. Он вспомнил неприятные намеки кухарки и покраснел. «Вот ведь какая ерундища получается!»

– Вы не можете понять меня потому, что, во-первых, я женщина и, во-вторых, Василий Михайлович, личное вы не признаете. Это для вас пустой звук! – горячо заговорила она. – Вы цельный! Для вас жизнь – это процесс накопления силы и мудрости. А я даже от своего замечательного отца ничего не приобрела. Обидчива, горда, слезлива, сентиментальна. Бубновый туз мне жжет спину. От бабьих сплетен я сегодня весь день ревела и решила бежать...

Устя передала разговор приисковых женщин и подробно рассказала о встрече с Иваном Степановым. Лицо Кондрашова посуровело. Сильные надбровья стали еще строже. Он встал, прошелся до голландской печи, вернувшись, подошел к столу, подравнял и без того аккуратную стопку рукописи. На столе чуть слышно посвистывал самовар, в ламповом стекле тихо потрескивал фитиль. Василий Михайлович, не спуская глаз с притихшей Усти, подошел к ней и, легонько коснувшись плеча, сказал поразительно просто и твердо:

– А знаете, милая Устинья Игнатьевна, вы ведь кругом правы! Я только сейчас понял, как вам тяжело. Что же нам делать?... Должен вам сказать, Устинья Игнатьевна, что самолюбие ваше, обиду, и даже туза бубнового, и всю вас, какая вы есть, я давно люблю. Если вы хотите... если у вас найдется хотя бы маленькое ответное чувство, я буду счастлив и готов просить вас стать мне другом, женой.

Василий Михайлович умолк и облегченно вздохнул. Устя вдруг вся обмякла и закрыла лицо руками. Такой быстрой развязки она не ожидала. В горенке, казалось, стало теплее, уютнее, еще веселее запел самовар. Склонив голову, она прижалась щекой к его руке, не смея поднять набухших слезами глаз.

Немного позже, когда чуть-чуть улеглось первое, самое радостное для Усти волнение, Василий Михайлович снова заговорил:

– Я ведь, Устинька, да будет вам известно, потомственный московский рабочий. Мне уже скоро сорок лет, пятнадцать из них я мотаюсь по дальним дорогам... Я побывал в тюрьмах самых изощренных архитектур, знаю, как добывается золото из вечной мерзлоты, как выпаривается соль из сибирских и уральских озер. Большой, длинный хвост тянется за мной и по сей день. Об этом я еще с вами не говорил, а сегодня скажу. Вы должны знать, Устинья Игнатьевна, что своей жизни и дела, которому служу, я не променяю на самоварчик, пусть даже из чистого золота. Скорее снова надену железные кандалы, чем соглашусь задарма пить вино Авдея Доменова. Смысл всей нашей жизни заключается в том, что мы хотим навсегда лишиться Доменовых и вина и золота. И все это ради того, чтобы вы могли учить ребятишек в нашей школе, чтобы Василиса родила детей столько, сколько ей хочется, не опасаясь, что они умрут с голоду. Но ведь господа Доменовы, Хевурды, Шерстобитовы, братцы Степановы добровольно золотой песок не отдадут, шахт не уступят и заморского винца задарма не пришлют... Я чувствую, что меня обхаживают сейчас, как медведя в берлоге. За мной всюду крадутся топтуны господина Ветошкина, а теперь еще и войскового старшины Печенегова. Меня ожидает не чаша с медом, а рогатина... Надо быть к этому готовой, дорогая моя.

Устя судорожно перевела дух. Дрожащая рука легла на его колючую, ежиком подстриженную голову и ласково ворошила неподатливые волосы. Виделись ей далекие и долгие этапы по непролазной грязи, скрип телег, тоскливый звон колокольчиков, большеротый урядник с рыжими усами на сытых, толстых губах, низколобий, с круглым, уродливым черепом, грубый и бесстыдный, точь-в-точь кошкодер. Сырые, холодные камеры, чугунные кровати с тощим матрацем или нары с раздавленными высохшими клопами. Неужели все это снова придется пережить? А как же личная жизнь, любовь и все остальное?

– Наша личная жизнь, как ртуть, в горсточку ее никак нехватишь, – улыбаясь, проговорил Василий.

– А вы не пугайте меня разными страстями. Больше того, что было, не станет. А уж если случится...

В окно черно заглядывала тихая степная ночь. На тусклые стекла налипали первые серебристые снежинки. Они быстро таяли, сползая грустными светлыми капельками.

– Значит, решено? – спросил Василий.

– Я, милый мой, давно уже решила...

– А может быть, передумаете? – Василий наклонился и заглянул ей в глаза. Они были чище родниковой воды, в которых крупинками золота блестели коричневые зрачки и, казалось, все время меняли свое выражение.

– Нет уж! Завтра же к попу!

– Прямо-таки к шиханскому?

– Само собой! В этом есть прелесть: тихо и ласково горят свечи, шепот зевак, священник в золоченой ризе, такой трезвый, постный, благоухающий! – Устя вдруг радостно засмеялась.

– А здешний поп как раз бывший татарин, – со смехом сказал Василий Михайлович.

– Тем лучше! Венчанием мы докажем всему здешнему начальству и полицейским, какие мы смиренные и благонамеренные...

– Согласен, дорогая! Будет немножко смешно... Правда, веселиться нам еще чуть рановато, – вдруг серьезно заговорил Василий Михайлович.

– Ты что же... не все сказал? – У нее перехватило дыхание.

– Да, не все.

– Господи! Может быть, ты женат? – Следя за его напряженным лицом, она теребила кисточки шали, торопливо отрывая тонкие белые ниточки.

– У меня была невеста, но ее уже давно нет в живых.

– Ты ее очень любил?

– Да. Но дело не в этом. За мной значится двенадцать лет неотбытой каторги. Я числюсь в бегах, и меня разыскивает полиция. Вот теперь все.

Скрестив на груди руки, Кондрашов поднялся с дивана и снова отошел к столу.

– Меня могут арестовать в любую минуту.

– К такой мысли я уже давно привыкла. Но, может быть, все-таки мы уедем куда-нибудь, может, рискнем?.. – Устя поднялась с дивана и накинула на плечи шаль.

В это время кто-то осторожно, но настойчиво постучал в окно. Устя вздрогнула и замерла. Словно испугавшись, самовар успокоился и затих. Только над лампой нудно гудела поздняя осенняя муха.

– Кто там? – подойдя к окну, спросил Василий.

– Гость. Будьте любезны-с; отворите на минуточку, – раздался хриповатый тенорок пристава Ветошкина.

– Видите, какое ко мне внимание. Даже в любви не дадут объясниться. – Лицо Кондрашова мгновенно преобразилось и приняло жесткое выражение.

– Что ему нужно? – испуганно спросила Устя.

– Идите к сениям! – не отвечая ей, крикнул Василий. – Попробуйте ему открыть, – торопливо добавил он, – а я немножко приберусь...

Устя поняла его, быстро вскочила, волоча на плече длинную шаль, вышла в другую комнату и плотно прикрыла за собой дверь. Отыскивая в темноте задвижку. Устя чувствовала, как бурно колотится у нее сердце. Она отлично знала, как запирается дверь в сени, но открыла не сразу.

Появившийся Кондрашов, легонько отстраняя Устю, сунул ей в руки сверток бумаг и шепнул одно слово:

– Спрячьте!

Возвращаясь из прихожей, Устя на ходу сунула сверток за пазуху и присела на диван.

– Вы уж меня извините, господин Кондрашов, – пряча под бесцветными, ощипанными ресницами красные от вина глазки, рассыпался Ветошкин. – На огонек забрел...

– Вы в гости или по делу? – сухо и резко спросил Кондрашов.

– И то и другое... Вы уж меня простите великодушно. Я не знал, что вы не одни вечеруете... а то бы и завтра зашел-с. Имею честь, мадам Яранова, – придерживая шапку, Ветошкин стукнул каблуками.

– Госпожа Яранова моя невеста, – сухо произнес Василий.

– Очень приятно-с! Тогда разрешите поздравить, как раз и бутылочка на столе. – Рассыпая дробненький, хриповатый смешок, Ветошкин галантно поклонился.

– Проходите и садитесь, – приглашая гостя к письменному столу, с которого он только что прибрал бумаги, сказал Кондрашов.

Ветошкин поблагодарил и уселся на стул.

– Чем обязан, господин пристав? – не меняя жесткого тона, спросил Василий.

– Говорю, на огонек забрел-с, да и дельце есть, так, пустяковое, – косясь на помрачневшую Устю, ответил Ветошкин.

Устя вскинула на Василия глаза и, перехватив его предупреждающий взгляд, осталась сидеть на месте.

– Я вас слушаю. – Василий Михайлович присел на стул и внимательно оглядел гостя, цепко шарившего глазами по разбросанным на столе бумагам. – Госпожа Яранова, с которой я

вступаю в брак, может присутствовать при любом разговоре. Я в доме хозяин, и от нее у меня никаких секретов нет, – прибавил Кондрашов.

– Да какие тут секреты? Помилуйте! – притворно изумился Ветошкин. – Я запросто!.. Вы уж извините, мадемуазель Яранова.

Устя промолчала.

– Известный вам бывший управляющий и главный инженер прииска господин Шпак, как вы знаете, привлекался к суду, но сейчас он взят на поруки, – продолжал Ветошкин.

– Выкрутился все-таки... – заметил Василий Михайлович.

– Дело не очень ясное, господин Кондрашов, – косясь на него, ответил пристав.

– Для меня, как счетного работника, все ясно, и я дал следователю, а предварительно вам, достоверное показание, – проговорил Василий Михайлович, пытаюсь разгадать, зачем все-таки пожаловала эта полицейская блоха.

– Я затем и зашел, господин Кондрашов. Вы желаете настаивать на своих показаниях? – в упор спросил Ветошкин.

– Я вас не понимаю, господин пристав. Это что? Допрос?

– Да нет... К чему такая казенщина... Я хочу в личной беседе выяснить, не изменилась ли у вас в процессе бухгалтерской проверки точка зрения на это дело?

– Наоборот, господин пристав. Я удивлен, что этот уголовный тип снова на свободе. Своим действием бывший главный инженер нанес прииску большой ущерб.

– Значит, вы настаиваете?

– Факты, господин пристав! А полиция, по-моему, всегда предпочитает факты... – спокойно подчеркнул Кондрашов.

– Это вы правильно изволили заметить... Полиция предпочитает прямые доказательства, так называемые улики, а в деле господина Шпака прямые улики отсутствуют, – сказал Ветошкин, подчеркнуто медленно произнося каждое слово.

– Нет улик? Вы меня удивляете, господин пристав, – рассмеялся Василий Михайлович.

– Есть, господин Кондрашов, есть, да только все косвенные... Их еще нужно доказать... А в процессе следствия всегда выявляются новые и часто весьма важные обстоятельства, понимаете? – вкрадчиво продолжал Ветошкин, словно намереваясь исподтишка схватить собеседника за горло.

К чему он вел весь этот разговор, Кондрашов не знал, но был сейчас уже твердо убежден, что ночной визитер пожаловал неспроста.

– На то и существуют органы следствия, – сказал он.

– Вот, вот! Господин Шпак дал дополнительное показание, которое, господин Кондрашов, касается лично вас, – подхватил Ветошкин.

Василий Михайлович понял, что разговор принимает серьезный оборот. Но это его несколько не смутило.

– Ну и что же Шпак показал? – открыто и прямо спросил он.

– По сообщению обвиняемого, следствию стало известно, что после убийства бывшего управляющего господина Суханова вы ворвались к главному инженеру в кабинет, заперли на крючок дверь и под действием угроз заставили его подписать бумагу об освобождении арестованных бунтовщиков, что и было выполнено. Тем самым, как доказывает господин Шпак, вы помешали законному следствию выяснить подлинные обстоятельства всего дела. Как видите, это очень важный момент для следствия. Кроме того, обвиняемый досконально обрисовал следователю ваше политическое реноме...

– А не обрисовал господин Шпак, как в том же самом кабинете он предлагал мне взятку в сумме пяти тысяч рублей, и только затем, чтобы я немедленно покинул прииск, не объяснив следствию существа дела? – улыбаясь в лицо приставу, спросил Кондрашов. Он решил сбить пристава с толку одним ударом.

Замирая от нервного напряжения, Устя все плотнее прижималась к клеенчатой спинке дивана. Она все время ждала, что вот сейчас этот жидкоусый полицейский встанет, стукнет о пол шашкой и своим хрипатым голосом скажет: «А ну, господин Кондрашов, хватит нам дурака валять... Надевайте-ка пиджачок и следуйте впереди меня – вас уже давно ждет наша карета».

– Пять тысяч рублей, господин пристав, немалые деньги... Как вы думаете? – продолжал Василий Михайлович.

С измятого лица Ветошкина сползла едкая усмешка и застыла на сморщенных губах. Такой оборот дела застал его врасплох. Постучав костяшками пальцев о ножны шашки, с досадой в голосе протяжно сказал:

– Это, господин Кондрашов, надо еще доказать.

– А чем докажет обвиняемый, что его кто-то заставил подписать такую важную бумагу? Ведь речь шла об освобождении арестованных.

– Именно-с! – воскликнул пристав.

– Послушайте, любезнейший Мардарий Герасимович, неужели вы можете поверить в такую чепуху? – с возмущением спросил Кондрашов. – Кому-кому, а вам-то отлично известны приисковые порядки. Ведь в распоряжении Шпака была полиция, стражники! Разве нельзя было меня тогда же задержать, арестовать? Но я, как вам известно, никуда бежать не собирался... А что касается моего «политического реноме», как вы изволили заметить, ничего добавить не могу. Все, что следует обо мне знать, полиция знает.

– Путаное дело-с, – в раздумье произнес Ветошкин.

– Может быть, но мне кажется, вы-то уж как-нибудь разберетесь, – сказал Кондрашов.

– В нашем деле «как-нибудь» не годится, – сухо заметил Ветошкин.

– Не спорю. Не желаете ли стакан чаю? – стараясь быть как можно любезнее, предложил Василий Михайлович, чувствуя, что жестокую схватку он выиграл и на этот раз.

– Благодарствую. Уже поздновато, да и у Авдея Иннокентича порядочно закусили... Пора, как говорится, на боковую. Имею честь!

Ветошкин встал, слегка покачиваясь, направился к порогу. В жарко натопленной комнате его сильно разморило, да и визит оказался не совсем удачным. «Полез с пьяных глаз, а чего добился?» – мысленно корил себя Ветошкин.

Василий Михайлович проводил гостя до самой калитки и долго смотрел ему вслед, пока он не скрылся за ближайшим углом. Вернувшись в комнату, он сел рядом с Устей. Спинка дивана приятно грела остывшую на холоде спину. В самоваре неярко отражался свет керосиновой лампы. Устя все еще сидела собранная, напряженно застывшая.

– Ушел-таки, – тихо проговорила она и вытащила трубочкой свернутую рукопись.

– Спасибо, Устенька! Я совсем про нее забыл.

– Это что... очень опасно, важно?

– Для полиции весьма любопытные откровения о минувшей русско-японской войне, – ответил Кондрашов.

– Как же ты мог забыть такое?

– Писал, писал, потом вспомнил, что вас нет, собрал листочки на столе и побежал, как гимназист, – усмехнулся Василий Михайлович.

– Значит, я виновата.

– Вот уж нет, – возразил Василий Михайлович. – Меня только одно смущает, чего ради разводил канитель эту пристав Ветошкин?

– Да ведь он тебе сказал! – Устя понимала, что нужно уходить, но не могла сдвинуться с места. Рядом с ним так тепло, а на дворе тревожно, темно...

– Это сказочки чисто полицейские. Возможно, они узнали про меня что-то новое. Им пока невыгодно тормозить меня по старым делам, поскольку я причастен к скандальному делу

Шпака. Марина Лигостаева дала против него убийственное показание. Прокурору я написал обширную объяснительную записку, о которой, очевидно, стало известно Ветошкину. Они хорошо понимают, что на допросах я молчать не буду.

Кондрашов замолчал и долго смотрел в дальний угол, где белела чистенькая печка. Он знал, что Устя сейчас соберется, уйдет, а он проводит ее до землянки и будет медленно возвращаться один, постоянно чувствуя за собой чужую, надоевшую тень. Он ни разу не видел шпики, но знает, что тот всегда тут, где-то близко, то в виде сторожа с колотушкой или парня с гармоникой, а то и порочной девки, которых на вербовали в Заречке и хозяева и стражники.

Наступило неловкое молчание. Устя продолжала сидеть. Она вдруг почувствовала и поняла, что ей именно сейчас нужно на что-то решиться.

Устя встала и с решительностью хозяйки начала убирать со стола, мысленно усмехнувшись, что именно с этого и нужно начинать семейную жизнь...

Услышав звон посуды, Василий Михайлович, словно очнувшись, дробно забарабанил пальцами по спинке дивана, еще не веря тому, что Устя вот так просто остается у него.

– Ты только этому крещеному татарину, когда он нас будет венчать, не признавайся, – смущенно заговорила Устя.

– А в чем?

– В том, что мы уже повенчаны, милый!..

В окно врывался белесый рассвет. Все гуще и гуще падал за окном снег, белый, пушистый и радостный, на всю Шиханскую степь.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Олимпиада прожила на прииске больше недели, а гулянки по случаю ее приезда все еще не прекращались. Всякий раз, когда с компанией собутыльников появлялся Иван Степанов, все начиналось сначала. Митька с Марфой в доме отца не показывались. Вернувшись из Парижа, они теперь жили в своем обширном, только что отстроенном доме. В последний раз они встречались в Кочкарске, когда ехали из Петербурга. Марфа отнеслась к мачехе с холодным, плохо скрытым презрением. Митька все время был в подпитии, невпопад вставлял французские слова и мало что соображал. Олимпиада видела их в день приезда, к то мелком. Принимать почти ежедневно ораву гостей, выслушивать их пьяные, льстивые речи, ловить на себе нескромные, порой откровенно бесстыдные взгляды Олимпиаде смертельно надоело. Однажды, не вытерпев, она отругала Авдея, да и гостям кое-кому досталось. Понезнись бы спокойно, помечтать о чем-либо сердечном, вспомнить былые шиханские ночи, проведенные в звонком прибрежном тальнике на студенном Урале... Даже и сейчас еще думать об этом и страшно и сладко. Вон ведь какое вытворяла тогда с семейным человеком! Видела в день приезда, да не посмела остановить. Слышала часом, овдовел казак... Эх, человек-то какой! Только размечаешься в сладкой тоске, а тут вваливается пьяненький Авдей, изломает без счастья и радости, да и захрапит. Выть после этого хочется. А гости? Чиновники, купцы да прасолы, напмаженные лампадным маслом, офицеры в замызганных мундирах, с вислыми усищами, пропахшими табаком да водкой, и каждый норовит с бессовестной улыбочкой и разными поганенькими словечками. Ну что это за жизнь такая! То ли дело, когда была в Петербурге... Там даже Авдей к своему воротничку шелковый бантик пришиливал. А красоты-то, веселья-то сколько! Женщины, будто павы, в воздушных платьях, кавалеры в белых панталонах, а то в малиновых, со шпорами.

Так, нежась утром в постели, до сладостной в сердце боли мечтала Олимпиада. В спальне было жарко натоплено, теплое одеяло сбилось к ногам, не только поправить, даже пошевелиться было лень. Через широкое итальянское окно глядело осеннее солнце и ласково грело открытые плечи. Последние дни ей трудно было поднимать с подушки голову и начинать новый день. «Нужно сегодня что-нибудь сделать, – размышляла Олимпиада. – Поехать, что ли, прокатиться на доменовских рысаках... Только вот куда поехать? Может, в Шиханскую?» Ничего так и не решив, она крикнула прислугу и велела позвать Микешку.

Миловидная, дородная тетка Ефимья, прислуживавшая ранее у Тараса Маркеловича, получив повеление молодой хозяйки, степенно вышла, а через полчаса вернулась снова с большим, наполненным водой тазом.

– Водичка тепленькая, вставай, лапушка, – улыбнулась Ефимья.

– Спасибо, Фимушка, – ответила Олимпиада и, сладко позевывая, спросила: – Микешке сказала?

– А он уже тут, за дверью стоит.

– Зови сюда.

– Да что ты, голубушка, бог с тобой! – удивилась Ефимья.

– А что? – не поднимая головы, спросила Олимпиада.

– Как он может войти, когда ты в таком виде? Взгляни-ка на себя!

– Ничего, он мой старый друг, – упорствовала Олимпиада.

– Неужто ухажер прежний?

– Нет, так просто. Росли вместе.

– Спроста-то, радость моя, ничего не бывает. – Ефимья, поджав губы, накинула на хозяйку красный халат.

– Ну уж ладно! – Олимпиада бойко вскочила, просунула руки в рукава халата, торопливо прикрыла постель широким голубым одеялом.

– Вот так-то оно и лучше, – одобрительно кивнула Ефимья и удалилась.

Открыв дверь, Микешка сначала просунул свою огромную пеструю шапку, а потом уже ввалился сам и оторопело остановился в дверях. Укрывшись халатом, Олимпиада сидела на кровати и пробовала пальцами воду в тазу.

– Испугался? – спросила насмешливо.

– А чего мне пугаться? – пробормотал Микешка. Запах каких-то дурманных духов кружил ему голову, висевшее на спинке стула бархатное платье Олимпиады, казалось, переломилось пополам, а сникшие рукава беспомощно падали на пол, как будто намереваясь плыть по желтому паркету...

– Сейчас поедем, Микеша, – играя расплетенной, длинно спадавшей с плеча косой, проговорила Олимпиада, вполне довольная устроенной забавой.

– Ладно, – ломая в руках свою пеструю папаху, ответил Микешка и поспешно вышел, шумно хлопнув массивной дверью.

...На прогулку выехали не сразу, а часа через два. Лошади бойко бежали навстречу прохладному, освежающему ветру. Мягко катился по наезженной дороге удобный рессорный тарантас.

Глаза Олимпиады блуждающе скользили по желтой луговой кошенине с длинными стогами сена и одинокими оголенными кустами вязника и крушины.

Микешка, сутуля на козлах широкую спину, вел неразогревшихся коней то медленно, то широкой, неровной рысью, отчего тарантас иногда резко подпрыгивал на мерзлых кочках и швырял Олимпиаду от одного края сиденья к другому.

– Не шибко гони! – не выдержала она.

– Жестковато, потому и трясет, – придерживая коней, отозвался Микешка. – Это не на пуховой перине валяться! – вдруг добавил он дерзко и обернулся к ней лицом.

Микешка одет был в черный романовский полушубок, ловко облежавший его широкие плечи. На чубатой голове маячила пестрая папаха. Одной рукой он натягивал вожжи, другой, в серой пуховой перчатке, протирал застывшую на легком морозе горбинку носа.

– Куда мы все-таки едем-то? – спросил он.

– А ты думаешь, я знаю? – кутая подбородок в воротник дорогой горностаевой шубы, ответила Олимпиада.

– Сколько же будем ездить? – спросил Микешка.

– Держи до Каменного ерика, а у Елашанского затона свернем в тугай.

– В тугай зачем?

– Журавлей шупать... – зло проговорила Олимпиада и отвернулась.

– Они давно уже улетели, – пожимая плечами, сказал Микешка, а про себя подумал: «Совсем осатанела баба».

Дальше разговор не клеился. С полверсты проехали молча. Кони бежали мерной рысцей и давили копытами сгустившуюся грязь. Над конскими головами виднелся желтый тугай, одетый в золотистые осенние ризы. Слева маячили далекие горы, справа приземисто сидел в луговой низинке круглый стог сена.

– Слышь, Микеш, – вдруг окликнула его Олимпиада каким-то робким, приглушенным голосом.

– Остановиться, что ли? – опередил ее Микешка. – Ладно. – И он сильно натянул вожжи. Кони замедлили ход.

– Вот дурачок-то! – рассмеялась Олимпиада. – Я ему про попа, а он про дьякона... Слово не дает сказать. Поезжай-ка, правда, потише.

– Растрясло, что ли? – не унимался Микешка.

– Ты со мной не вольничай и особо-то zenки на меня не пяль, дурачок, – поймав его пристальный взгляд, проговорила она. – А то я тебя, миленок, быстро утешу...

– Да что я, титешный, чтоб нуждаться в чьих-то утешениях? – задорно спросил Микешка.

– Утешает тебя твоя Дашенька, ну и ладно...

– Она не в счет.

– Вот, вот! К брюхатым бабам вы не очень ласковы, – вздохнула Олимпиада.

– А тебе откуда это известно?

– Э-э, миленок мой, не ахти какие новости. На этот счет у нас, у баб, своя гимназия... – ответила она задумчиво. – Я не о том хотела тебя спросить.

– А о чем же?

– Ты Маринку Лигостаеву любил или нет?

– Ты чего это вдруг о ней вспомнила? – хмуро спросил Микешка.

– А я часто о ней вспоминаю.

Не докурив дешевую папироску, Микешка яростно заплевал ее и размашисто бросил на обочину. Настороженно покосившись на опечаленное лицо Олимпиады, увидел, что оно стало другим. Бирюзовые глаза заискрились скрытой грустью, длинные ресницы мелко вздрагивали.

– Не хочешь, миленок, признаться? – проговорила она каким-то глухим, почти нежным голосом.

– Что было, то давно быльем поросло, – медленно ответил Микешка.

– Каждая былинка в жизни свой корешок имеет. В прошлом-то году ты около меня вился, а потом к ней переметнулся. У ней козырь был – девка, а я вдова горькая... Не случись так, я бы теперь от тебя казачонка тетешкала, – с тоской проговорила Олимпиада.

– Ладно врать-то, – с трудом сказал Микешка.

– Ты что, забыл, как после молебствия меня помял у плетня, а сам потом к Маринке завернул и до вторых петухов ворота обтирал?

– Нашла о чем вспомнить. Поздно виноватых искать, – не оборачиваясь, сумрачно ответил он.

– Вам как с гуся вода. Все вы, казаки, на одну масть, жеребьячей породы, норовите каждую кобылку лизнуть! Все одинаковые, кроме Петра Николаевича! – вдруг вырвалось у Олимпиады.

– Какого это Петра Николаевича? – круто повернувшись к ней, в упор спросил Микешка.

– Лигостаева. Что, не знаешь такого? – Олимпиада шумно вздохнула и отвернулась.

– А он что, по-твоему, святой? Кстати, он теперь вдовый, может, подберешь ему невесту какую...

– Для такого человека я бы и сама душеньку свою на алтарь положила, – с тихой, едва уловимой тоской проговорила она.

– Ты что, хмельная? – пораженный ее внезапной откровенностью, спросил Микешка.

– Я не хмельная! – Рывком распахнув шубу. Олимпиада погладила сдавленное спазмой горло, лихорадочно шаря за пазухой, по привычке искала носовой платок. Из откидного воротника платья выскочил золотой крестик, упав на синий бархат, он беспомощно повис на тяжелой, мелко выкованной из чистого золота цепочке.

– Я не хмельная, а я продажная! Вот за что я продалась! – сжимая в горсти золотую цепь, захлебываясь слезами, продолжала она. – А кто виноват? Да все вы! Ты прежде меня потискал, а потом на Маринку перекинулся. Ее сначала мыловарщику Буянову продали, а потом уж басурману Кодарке! Какую девку испоганили и в Сибирь на каторгу загнали!

Лицо Олимпиады пылало, глаза были гневные, заплаканные.

– Ты погоди, ты постой! – Красные, тесемные вожжи тряслись в руках ошеломленного Микешки. – Да рази я виноват? – бормотал он.

– А кто? Через вас ей кандалы надели, а я этому рыжему супостату Митьке поверила, на шею кинулась от горя горького... А тут Авдей-лиходей появился и свой товар в ход пустил – Марфу и меня мертвой петлей захлестнул! – Она всхлипнула и уронила растрепанную голову на колени.

«А ведь и на самом деле, – думал Микешка, – расценили каждую в отдельности».

Кони шли тихим шагом, мерно и гулко постукивали колеса о мерзлую землю. Над седыми горами во всю ширь расчистилось прозрачное осеннее небо. Ближний тугай искрился радужными на солнце бликами неопавших, прихваченных морозом листьев черемухи, вяза, ветлы и яркого краснотала. На луговой, ковыльной гриве зеркалом блеснуло круглое озерцо с привычным домашним названием Горшочек, с сонно плавающим на поверхности камышом, листопадом и клочьями верблюжьей колючки. Кони, почуяв воду, зафырчали, взбодренно тряхнули головами.

С испугом и жалостью поглядывая на беспомощно всхлипывающую Олимпиаду, Микешка чересчур сильно дернул вожжи, кони резко подали вперед и повернули к ближайшему стожку. Тарантас так подбросило на кочках, что Олимпиада едва удержалась.

– Ты что, сдурел? – хватаясь за металлическую ручку, крикнула она и перестала всхлипывать.

– Нечаянно вышло, – сдерживая коней, ответил Микешка.

– А зачем ты свернул к стогу?

– Пусть кони передохнут малость, да и тебе успокоиться надо, – поглядывая на нее виноватыми глазами, проговорил Микешка. Тронутая его вниманием, она не стала возражать, и до стожка проехали молча. Кони уперлись дышлом в шуршащее сено и остановились.

Микешка соскочил с козел, поправил у левого рысака сбившуюся шлею, украшенную тяжелым наборным серебром, потом вытащил из стога клоч душистого сена и по очереди протер коням забрызганные грязным снегом грудь и ноги. Кони были рослые, светло-рыжей масти, с белыми, в чулках ногами.

В шубе из голубого горностая Олимпиада поднялась в тарантасе во весь рост и обвила шею концами большого оренбургского платка. Микешка бросился было к ней и хотел помочь вылезти из тарантаса, но она отстранила его протянутую руку, подняв затуманенные слезами глаза, сказала с гордой в голосе недоступностью:

– Отойди.

Микешка растерянно сделал шаг назад. Распахнув широкополую шубу, Олимпиада смело выпрыгнула из кузова и мягко ступила фетровыми валенками на густую щетинистую кошенину, чуть припорошенную мягким, ночью выпавшим снежком.

– Хоть тут отдышусь маленько. Хорошо-то как, господи! – глубоко вздохнула она и перекрестилась на куржавые в стоге ветреницы.

Воздух был чист и свеж, как родниковая вода. Ветерок ласково шелестел засохшими листьями таловых веток. Сухие, еще не плотно прибитые дождями травинки на стогу мелко дрожали и шевелились, словно живые. Щеки Олимпиады сушил и слегка пощипывал слабый дневной морозец, умиротворяя и успокаивая взбудораженную кровь.

– Разнуздай лошадей и надергай им сена, – вдруг неожиданно смиренно и тихо сказала Олимпиада.

– Да они и так... – начал было Микешка, но она сердито перебила его:

– Делай, что тебе велят.

– Да сейчас нащипаю! Ты только не кричи, ради бога.

– Вот и щипай и не оговаривай.

– Уж и не знаю, чем угодить...

– А ты шевелись, парень!

Микешка снял перчатки и засунул их под синий матерчатый кушак. Повернувшись к стогу, с остервенением стал выдергивать клочья слежавшегося сена. Властный окрик Олимпиады рассердил и обидел его.

Поглядывая на парня сбоку, она стояла почти рядом и вдыхала медовый запах высохших трав. Когда Микешка набросал достаточную охапку, Олимпиада вдруг оттолкнула его и размашисто села на ароматную копешку.

– Ну что ж ты так?

– Ничего. Отдохнуть хочу. А ты пожалел? Можешь еще надергать.

Микешка молча надергал еще одну кучку. Потом, разнуздав коней, отвел их от стога и пустил к сену, сам же отошел в сторонку и закурил.

– Ты чего это такую срамотищу носишь? – снова огорошила его вопросом Олимпиада.

– Ты про что? – удивился Микешка.

– Про шапку твою рябую. Вырядился, как дурак на ярмарку. Смотреть муторно. Не я твоя жена...

– Ну и что бы было тогда?

– Сожгла бы в печке. Неужели не можешь добыть хорошую мерлушку?

– Моих овец вояки съели... А ты с меня сегодня последнюю шкуру сняла, – затягиваясь папироской, сумрачно проговорил Микешка.

– Ишь ты какой тонкорунный! Ты о своей шкуре печешься, а у меня само сердце кровью запеклось. Ладно, милоч, не дуйся. Садись рядком, да поговорим ладком.

– А мне-то, думаешь, сладко? – Он быстро повернулся к ней и в упор встретился с ее открытыми, влажно блестящими глазами.

– Знаю. – Из ее груди вырвался судорожный вздох.

Легким порывом степного ветра разбуженно зашелестели на верхушке стога сухие, звонкие листья. Олимпиада отодвинулась. Микешка покорно сел рядом. Хорошо пахло сочным луговым сеном.

– Ты, говорят, на службу идешь? – покусывая пунцовыми губами высохший листочек, спросила Олимпиада.

– Черед, никуда от этого не денешься, – пожал плечами Микешка.

– Не хочется небось?

– Какая там охота! – вздохнул Микешка.

– Начнется война, убьют, как моего Алешку... – стиснув зубы, медленно и безжалостно проговорила Олимпиада.

– А об этом я, Липочка, не думаю. Не во мне суть... – твердо ответил Микешка.

– Вспомнил мое старое имечко?

– Так, к слову пришлось. Прости, ежели снова не угодил.

– Нет, отчего же! Спасибо, что вспомнил. Хочешь, – после минутного молчания продолжала Олимпиада, – хочешь, я тебя от службы вызволю?

– Как это ты можешь сделать?

– Скажу своему Авдею-лиходею словечко, а он тряхнет воинского начальника, и все дела.

– Он у тебя в самом деле лиходей, – усмехнулся Микешка.

– Так хочешь или нет? – настойчиво спросила Олимпиада.

– Если можешь... ну что ж, валяй, – нехотя ответил Микешка.

– «Валяй»! – усмехнувшись прищуренными глазами, передразнила его Олимпиада.

Подрумяненное морозцем лицо ее было очень красиво и близко. Запах пухового платка, в который она кутала белую, без единой морщинки шею, кружил Микешке голову.

– Ты чего это раскис? – поймав его затуманенный взгляд, лукаво спросила она и легонько толкнула плечом.

– Да так, – ответил он.

– Так-то, миленочек мой, и пупырышек не садится... – вздохнула она и, без всякой связи с прежним разговором, вдруг добавила: – Мне иной раз так ребенка хочется, что в грудях даже ноет...

– За чем же дело стало? – дивясь ее откровенности, спросил Микешка.

– Дурак ты. – Олимпиада протянула руку и поймала торчавший сбоку конец смятого Микешкиного кушака. Намотав его на палец, сильно дернула. Кушак ослаб и распоясался.

– Озоруешь, барыня... Гляди, а то я тоже осатанеть могу... – пробуя взять из ее рук кушак, сказал Микешка, чувствуя, как дрожат его тяжелые, жесткие руки.

– Вот я и хочу, чтобы ты осатанел... – смеясь, она вырвала кушак, накинула ему на шею и потянула к себе.

После короткой борьбы Микешка нашел ее жаркие, мягкие губы. На секунду она сникла. Но вдруг, резко оттолкнув его голову, перевернулась на бок и быстро вскочила.

– Ишь чего захотел, черт некрещеный! – беззлобно проговорила она и, швырнув ему кушак в лицо, запахнула шубу. – Вот приедем домой, расскажу все Авдею своему, будет тебе отсрочка... – искоса посматривая на растерянного кучера, продолжала она.

Микешка молча опоясался и затянул кушак. Потом нагнулся, поднял кнут и расправил его.

– Дашеньке твоей объявлю, что ты за хлюст...

Этого Микешка стерпеть не мог. Торопливо, дрожащими пальцами он сложил кнут вдвое и несколько раз стеганул Олимпиаду по плечу. Удар по шубе был тупой, но достаточно сильный. Почувствовав боль, Олимпиада резко отскочила в сторону и убежала за стог и уже оттуда крикнула гневно:

– Ты что, черт, ошалел?

– Подойди сюда, я тебя еще разок опояшу... Тогда заодно иди и жалуйся! – не трогаясь с места, крикнул Микешка.

– Да я же нарочно сказала, балда ты этакая! – всхлипнула Олимпиада.

– От такой всего можно ждать... – Микешка повернулся и направился к лошадям. Пока он не спеша поправлял сбрую, Олимпиада вышла на дорогу, спотыкаясь о кочки, быстро зашагала вперед.

Спустя несколько минут Микешка догнал ее, остановил лошадей, не оборачиваясь, коротко сказал:

– Садись.

Она села и, закутавшись в платок, отвернулась.

К стogu подбиралась короткая полуденная тень. Солнце освещало только самую макушку, где озорничал высохшими листьями сухой морозный ветер-степняк и, догоняя отъезжавших, холодил их разгоряченные лица...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

После похорон Анны Степановны вскоре ушел на действительную службу и Гаврюшка Лигостаев. Внешне он как будто примирился с отцом, уходя из дому, горько плакал, а перед этим много пил и пытался буяннить. Но отец крепкими, как железо, руками взял его в охапку, положил на кровать и быстро утихомирил. Унес сын глубокую в сердце обиду. Пьяный, он упрекал отца за то, что тот не дал ему Ястреба. Но Петр Николаевич остался непреклонен. После многих споров и пререканий продали пару быков, прибавили сто рублей из экипировочных и купили у Полубояровых рослого, гнедо-карей масти трехлетка. В призывной комиссии Гаврюшка был зачислен в гвардию, прошел по всем статьям и конь. Скучно и как-то пусто стало в притихшем доме Лигостаевых. Во дворе сиротливо оголился старый сучкастый вяз, грустно покривился дощатый на воротах теремок. В просторной комнате одиноко ползала с соской во рту маленькая Танюшка.

Петр Николаевич с прииска уволился и занялся только хозяйством. Помогали ему Сашок и Степанида. Семья уменьшилась наполовину, а забот стало больше. На конюшне стояли приведенные Тулегеном жеребые кобылицы. К рождеству отелились две коровы. Почти каждый день, в самые лютые морозы по ночам ягнились овцы, за которыми надо было постоянно следить.

Как-то, оставшись одна в доме, Степанида днем прокараулила суягную овцу. Овца принесла двойняшек. Ягнята замерзли.

В этот злосчастный день Петр Николаевич с Сашком ездили в степь за сеном и вернулись только под вечер. По дороге у них опрокинулся воз и загородил дорогу. Пока сено перекладывали, поднялся тугой с востока ветер и вместе с клочьями сена погнал по степи колючие ручейки снежной поземки.

Иногда налетали такие вихри, что вырывали из рук пухлые пласты душистого слежалого сена. На возу стоял Сашок и плохо справлялся с большими, тяжелыми охапками. Воз кривился то на одну, то на другую сторону.

В это время навстречу на трех бычьих парах подъехал с сыном Кузьма Катауров. Поскрипывая обшитыми кожей валенками, Кузьма подошел к Лигостаеву и, не поздоровавшись, начал ругаться:

– Ну чего на дороге расчухались?

– А ты что... ослеп? – прибывая вилами топырившийся угол воза, сердито ответил Петр Николаевич.

– А куда я объеду? Хочешь, чтобы я дышла перекорежил! Сугроб-то два аршина будет, – ярился Катауров.

– Я, что ли, его намел? – спросил Лигостаев. – Порожняком-то и объехать можно.

– А ты что за указчик? Ты что учить меня вздумал? Ты дочерю свою учи!.. Видал я ее намедни, паскуду...

– Ты чо, гад, задираешься, а? – перехватывая в руках вилы-тройняшки, глухо спросил Петр. Склеенные ледышками усы его напряженно дрогнули. – Тебе что, дочь моя дорогу перешла?

– А ты как, басурман, думал? – злорадно кривя губу, продолжал Кузьма. – Мало, что осрамила всю станицу, должности меня лишила, погань такая! Жалобу на меня подмахнула, с политическими стакнулась.

Сбросив с вил пласт сена, Лигостаев поднял березовый черенок и, грузно топча валенками разрыхленный снег, шагнул к Катаурову. Из-под седой, запорошенной снегом папахи на обидчика черно смотрели страшные, остановившиеся глаза. Кузьма не выдержал их взгляда и быстро попятился назад.

– Отстаньте от него, папаня! – крикнул стоявший у передних быков сын Катаурова, Никон.

– Где жердь? Тащи, Конка, бастрик! – кричал Кузьма. – Я его сей минут пришибу!

Петр угрожающе поднял вилы.

– Да вы что, спятили? – загоразивая собой отца, сказал Никон. – Что вам, места мало на белом свете? Оставьте его, дядя Петр! Выпивши он, ей-богу! – взмолился Никон.

Петр остановился и опустил вилы в снег со словами:

– Скажи спасибо сыну своему. А то бы я тебе выпустил требуху-то...

Брезгливо сплюнув, он уперся грудью на черенок и отвернулся. На душе было пусто и мерзко.

– Грозишь, а ведь не тронешь! – спрятавшись за толсторогого пестрого быка, огрызнулся Кузьма. – Тронул бы, так тоже бы отправился по сибирской дальной...

– Уж куда бы ни шло, а зря рук марать не стал бы... пропорол бы – так насквозь, – сурово проговорил Петр и, повернувшись, пошел к своему возу, откуда, зарывшись в сено, выглядывали испуганные Санькины глаза.

Поплевав на руки, Петр Николаевич воткнул вилы в хрустящее сено и поднял тяжелый, объемистый пласт. Тем временем Никон согнал передних быков на целину и повел их по глубокому и крепкому снегу. Ломая и выворачивая белые ковриги наста, крупные, сытые животные, скрипя о дышло ярмом, разбили сугроб и, посапывая заиндеветыми ноздрями, выволокли тяжелые сани на торный шлях. Остальные подгоняемые Кузьмой две пары прошли легче. На ходу вскочив на последнюю подводу, Катауров, грозя Петру кнутом, сказал:

– Я тебе еще припомню!..

– Поезжай, шкура, и не сепети! – крикнул ему вслед Лигостаев. Налетевший порыв ветра донес пронзительный скрип санных полозьев и заглушил слова Петра. Снег повалил гуще. Темнее стало в степи.

– Вот барин какой! – орудуя на возу вилами, проговорил Сашок. – Места ему мало... Проехали же, так нет, лаяться надо! Дядя Петь, спросить вас хочу...

– Ну что?

– Неужто бы его кольнули?

– Да ну его к черту! Ты навивай получше, да гляди, опять набок не стопчи, – кидая ему сено, ответил Петр Николаевич.

– Да я гляжу...

Пушистый снег кружился в воздухе и лепил Саньке глаза. Лошади, зябко поеживаясь на ветру, с хрустом жевали пахучее сено. Наконец воз был навит, придавлен бастриком и затянут веревкой. По замеченной снегом дороге ехали медленно и только к вечеру прибыли в станицу.

Обычно, пока мужчины выпрягали уставших коней, Степанида успевала накрыть на стол и поставить чугуны с дымящимися щами. На этот раз, когда Петр и Сашок вошли, стол на кухне был пуст. Отпихнув вертевшегося под ногами ягненка, Петр Николаевич развязал кушак и снял черный романовский полушубок.

– Есть кто дома-то? – спросил он недовольно. – Как будто все вымерли...

– Да тут и вправду скоро подохнешь, – выходя из горницы и застегивая на ходу синенькую кофточку, сердито проговорила Степанида.

– Ты что, спала, что ли? – сдерживая нарастающее раздражение, спросил свекор.

– Как бы не так... Есть когда тут уснуть. Ребенок обрелся, насилушки уняла. – Степанида с шумом открыла заслонку и швырнула ее на пол.

– Ты чего бесишься? – Петр прошел к столу и сел на скамью.

Сашок, мучительно переносивший всякую ссору, робко сунул озябшие, покрасневшие руки в печурку.

– Да провалилось бы все пропадом! – доставая ухватом чугунок из печки и едва не кувыркнув его, захныкала Степанида.

– Ты ответишь мне добром или нет? – не вытерпел и закипел Лигостаев. – Не токмо ворота отпереть, даже на стол не собрала!

– Да что, мне разорваться, что ли? И вы на меня, папаша, не шумите. Встаю с зарей и ног под собой к вечеру не чую... А сегодня, пока девчонку спать укладывала, овца объяснилась и двойняшек заморозила...

– Совсем? – спросил Петр Николаевич.

– Вон мороз-то какой... В момент и застыли, – ответила Степанида и заплакала. – Ягнятки-то такие раскудрявенькие, сердце кровью облилось...

– Час от часу не легче, – насутился свекор. – Как это ты проворонила?

– Да утром, когда корм давала, смотрела ее. Такая была веселая и бойкая, я думала, еще дня три походит, а она в полдень растряслась...

– Говорил, что смотреть надо за скотиной, – сказал Петр Николаевич и, взяв нож, начал кромсать хлеб.

– Как тут углядишь? Скота-то вон сколько развели, а ухаживать некому. Мне не разорваться. Как хотите, папаша, я больше так жить не могу.

Степанида поставила на стол дымящийся со щами чугунок и стала вынимать разопревшую говядину. В комнате аппетитно запахло варевом.

– Что же прикажешь делать? – кладя нож на стол, спросил Петр.

– Вы хозяин, папаша... – неопределенно ответила сноха и, обернувшись к Сашку, добавила: – Садись, Саня, чего ждешь...

Сашок торопливо перекрестился на треснувшую икону Николая-угодника, полез за стол.

– Выходит, мне одному больше всех надо? – поглядывая на сноху сбоку, спросил Петр Николаевич. – Ты что же – не хозяйка?

– Своих животных было за глаза, а вы еще двух кобыл приняли...

– Ну что из этого? Ты ягнят заморозила, а кобылы виноваты, – беря в руку деревянную ложку, проговорил Петр.

– Так и знала, что я же буду виноватая... На кой черт мне сдались ваши кобылы! Три раза сена кидай, поить гони да назем за ними вычисти. Сегодня с водопоя веду, а навстречу Спиридон Лучевников, остановил и говорит: «Это что, свекор-то ваш за дочь калым получил?» Вытаращил на меня zenки и хихикает. Срам один, папаша, вот что я вам скажу. И зачем вы их взяли, ума не приложу...

– А это не твоего ума дело, – угрюмо проговорил Петр Николаевич. Гнев душил его. Кусок не лез в горло. Он глотнул горячего, поперхнулся и отложил ложку.

Второй раз сегодня хлестнули его по самому сердцу. Мучительно, нестерпимо было слушать упреки снохи. А она все не унималась.

– Живу своим умом... Знали, какую брали... Что я им, рот заткну? Вся станица об этом судачит...

– А ты не слушай и не передавай мне всякие пакости! – сверкнув на нее черными глазами, резко проговорил Петр.

– Может, мне оглохнуть прикажете? – фыркнула Стешка и встала из-за стола. – Вот что я вам скажу, папаша: ежели я не хороша, уйду к маменьке с тятенькой, а вы наймите работника и одни живите, может, женитесь и свекровушку новую приведете... Силушки моей больше нету!

Степанида сдернула с головы платок, распустила длинные косы, вильнув бедрами, ушла в горницу.

– Дура толстозадая, – тихо и беззлобно проговорил Петр и поднялся со скамьи. Есть уже он не мог. Снимая с гвоздя полушубок, сказал мальчику: – Ты хорошенько ешь и на меня не гляди. Мне сегодня что-то мочи нету...

Подпоясавшись синим сатиновым кушаком, Лигостаев вышел. На дворе соседский серый кот прыгнул за хохлатым воробьем и вскочил по шершавой коре на вяз. Воробей перелетел на крышу дома и, дразняще попискивая, уселся возле трубы. Петр поднял смерзшийся конский помет, кинул им в кота. Серый вскарабкался еще выше и укрылся за сухими, скрюченными листьями. Лигостаев присел на порожные конские дровни и задумался. Он понимал, что снохе действительно трудно, но не мог ей простить мелочность и вздорность. «Жениться, дуреха, предлагает... В доме-то еще ладаном пахнет», – размышлял Петр Николаевич. Но в то же время чувствовал, что ему, сорокалетнему мужчине, без жены не обойтись. Докурив сигарку, он подошел к переднему возу, отпустив березовый бастрик, с силой отбросил его в сторону. Когда Санька вышел, Петр Николаевич скинул на повесть почти полвоза. Сено надо было укладывать на повети в аккуратную скирду. Санька обычно утапывал и вершил, а Степанида принимала от Петра и подавала наверх. Сейчас она не вышла. Лигостаев несколько раз вынужден был спрыгивать с воза, взбираться по лесенке на повесть и помогать малышу.

– Придет она или нет? – спросил Петр Николаевич.

– Не знаю, дядя Петь, – неловко подхватывая духовитый пласт сена, ответил Санька. – Она вроде все плачет, – вытирая шерстяной варежкой мокрую щеку, добавил он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.